

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1925

МАЗЕЛЬ 1925

Лариса Рейснер

АФГАНИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ◇ 1925 ◇ ЛЕНИНГРАД

Обложка, заставки,
рисунки и концовки
работы худ. Мазель.

Главлит № 33912. А П. Тираж 5.000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий", Москва, Пименовская улица, дом 1/16.



Наша Азия и Азия по ту сторону границы.

I.

Первый день.

На протяжении нескольких сот верст одно и то же: мир. Бледный дол едва отогревается, и от поля к полю, справа и слева до края неба ходят медленные пахари.

За их плугом дымится легкое облако теплой земляной пыли. Вернувшийся домой кавалерист сидит на худой крестьянской лошади, и за ним, подпрыгивая, ползет борона, касаясь земли своей жесткой лаской. Как безумно далеко ушла война! Весенние реки заливают старые окопы,—невозможно себе представить падение снаряда среди робкой зелени озимей, на опушках болотистых рощ.

Бесконечный покой.

II.

Станция.

Все торгуют: азиаты, и крестьяне, и проезжающие красноармейцы. Ничто не сравнится с лицами, составляющими „толчок". Это не люди, а лес. Около крестьянки, предлагающей полотенце столпились рыжие дубы, несколько пней, сожженных грозой; ветки без листьев, покрытые отсырелой корой, гиблые, изогнутые ивы.

И там, где кора лесных лиц нежна и красновата, живет их голос, и этот голос шелестит, поскрипывает или рокочет.

— Сколько? Десять? Даю пять косых.

И, смеясь, как у себя в чаще, великаны качают мохнатыми шапками. В пальцах, разгибающихся, как прутья, приготовленные для плетения корзин, у них зажаты бумажные деньги. Белки глаз из снега, не успевшего растаять на колючих хребтах этой страны. Зрачок — таинственно текущие вешние воды, невидимые, пока молодая луна в них не бросит кусок серебра.

Чистильщик сапог, азиат, сидит на голой коричневой земле и сжимает между колен свою подставку, точно ящик с драгоценностями. Это пушкинский Черномор: это — его огненные глаза и мшистая волна волос на бороде. Равнодушный к судьбе волшебник сидит со своими глянцовитыми ваксами и красной бархатной тряпочкой, вырванной из плаща Людмилы, и бесстрастно наблюдает босые ноги прохожих, до колена выпачканные в грязи. Его лицо темно, а ремесло эфемерно.

III.

Туркестан.

Между совершенно плоским небом и плоской землей дым, уходящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы нетающего снега и замурованная тишина на протяжении сотен верст. Дороги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей; пустыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.

Читать невозможно; жгучие слезы Гейне всасываются черной рыхлой землей. Даже дебелая пышность Елизаветы Петровны, ленивые и грязные анекдоты ее царствования, даже холод Бестужева, мужицкая широта Разумовского, даже шуваловские кружева и ломоносовские оды блекнут в этой степи, где камни из лунного света и облака, окаменевшие в пустоте.

Здесь не может быть истории, этого искусства мертвых. Все относительно на куске земли, где песок смешан с солью и солнечным светом.

IV.

Полустанок.

Киргизка, поставив под овцу неопрятный глиняный сосуд, лениво выпрастывает ее продолговатые сосцы. Возле матери шелковистый ягненок на больших и слабых ногах. Его мордочка,

которой он тыкается в подол дикарки и в пустое вымя матери, имеет чистый античный рисунок,— тот беспомощный и порочный профиль, который так любил ампир. Пахнет азиатским жильем, горькими травами и мехом. В степи нежнейший звон ветра в сухих прошлогодних травах. Поют песчаные холмы, где согретые солнцем пески пересыпаются, как жемчуг, восходят волной, падают в мгновенные долины и опять ссыпаются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой музыкой.

Воздух полон степных жаворонков. Тысячи влюбленных крылий трепещут в синем и золотом и с легким стоном тают в ослепительном блеске неба, и небо ими полно, как ангелами.

Холмы золотого песку, с которого верблюды неторопливо снимают зеленоватый пушок.

Долины, точно янтарные чаши, поставленные рядом, полные запаха трав и, как пену, источающие червонный свет. Холм у холма — это сот возле сота: они медленно наполняются огненным медом дня.

V.

...Как далеко мы уже уехали. Не на сотни и тысячи верст, а на много сот лет, на целую вечность в прошлое. Здесь, ведь, скалы, пески и ущелья — как вчерашний, едва истекший день — помнят Тамерлана; и скрип его диких повозок, иноходь его конницы еще живет там, где теперь лежит железная дорога.

Сколько солнца, меда и целебных запахов источает пустыня, каким темным изумрудом пылает Ташкент, и, наконец, эта средневековая Бухара!

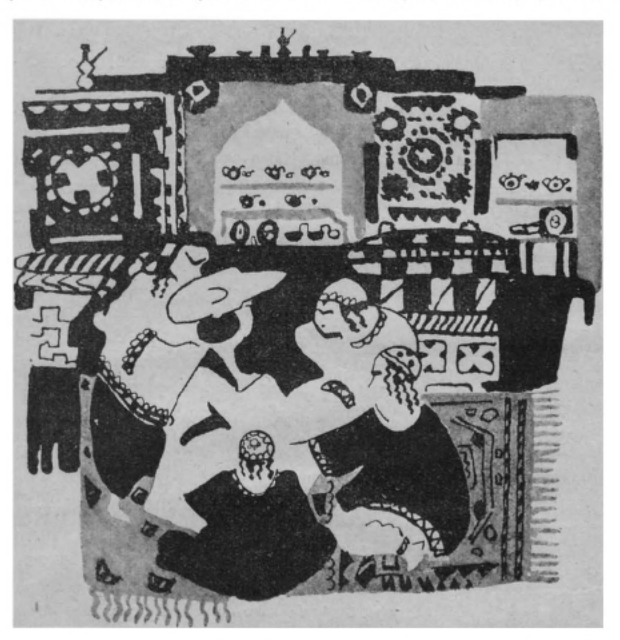
Здесь есть крытые базары, которые тянутся на две-три версты. Они прохладны, под крышей воркуют голуби, в щели льется золотой полуденный дождь, а справа и слева, у порога крохотных лавок сидят пестрые халаты, чалмы белее снега, и старики с бородами пророков, высчитывая барыши и плутни, покоятся с видом богов и нюхают влажные розы.

Везде бегут крохотные ослики с вьюками свежего клевера и тростника, с женами в чадрах, бог знает с чем. Иногда среди этой толчеи проезжает наш кавалерист в высоком шлеме, и со спины он выглядит как победитель Иерусалима, паладин Красной Звезды.

И все-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упоительную красоту этой жизни, меня обуревает ненависть к

мертвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи верст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого. И, в конце-концов, эти города неумолимо идут к вымиранию, к праху, пыли, — все к той же пустыне, из которой они возникли.

Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорослых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, палаток, граната,



голубизны, пчелиного гуденья и старинных построек, да и аромата, конечно. Такого крепкого и густого, что хочется закрыть глаза, лечь на раскаленные плиты маленького раскаленного двора и быть легче ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят в густом воздухе старинные баллюстрады. Под деревьями расстилают ковры, подают чай с пряными сластями. И тишина такая, что ручьи немеют, и деревья перестают цвести.

А вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит много дверей. За каждой дверью — белая комната, расписанная павлиньими хвостами, убранная сотнями маленьких чайников, которые стоят в нишах парочками, один большой и один маленький, совсем как голубь с голубкой. И в каждой комнате живет женщина-ребенок, лет тринадцати-четырнадцати, низкорослая, как куст винограда.

Все они опускают глаза и улыбку прикрывают рукой. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они бегают по коврам босиком, и миниатюрные ногти их ног выкрашены в красный цвет. Лукавые и молчаливые, эти бесенята в желтых и розовых шальварах уселись вокруг меня, потом придвинулись, потрогали своими прохладными ручками, засмеялись и заболтали, как птицы. Кажется, мы очень друг-другу понравились. В общем они — очаровательнейшее вырождение из всех, какие мне пришлось видеть.

VI.

Кушка — пограничный пункт между Россией и Афганистаном. Вокруг его старинной крепости громоздятся пыльные песчаные горы. Ветер подымает на их склоне тучи желтого праха и разносит его, как пепел целого мира, сожженного неизвестным завоевателем.

Но улицы городка тенисты, вдоль тротуаров шумят ручьи, ленивые тутовые деревья, разомлев от жары, роняют переспелые ягоды на чистые дворы казарм, на крыши и пороги выбеленных домов, в которых расквартирован гарнизон. Словом, настоящий пограничный городок, белый, зеленый и крепкий, со своим военным населением и тревожной бдительностью, превозмогающий и жару, и лень, и лихорадку. Лихие, деловитые коменданты, седые трубачи и племена, угоняющие друг у друга еженощно стада жирных баранов; эти угоны и есть преткновение нашей восточной политики, знаменитый джемшидский вопрос.

От столба, вбитого в лысый затылок какой то старой горы, начинается настоящая Азия, огороженная синеватыми линиями гор и золотым поясом пустыни. До самого Чильдухтерана, первого привала в Афганистане, нас провожает эскадрон кавалерии. До вечера звучит нам русская речь, и среди белых чалм мелькают красноармейские шлемы. Вечером они уходят; при свете

фонаря над разгоряченной головой лошади наклоняется милое и взволнованное лицо кушкинского коменданта, и затем его руки, пожимавшие наши, и вся его славная фигура времен „Капитанской дочки", и глаза, в которых влажный блеск,—все исчезло, и мы остались одни.

VII.

Из Кушки до Герата.

Ночь,—надо начать с нее.

После целого дня, проведенного в седле, после солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому полдню и, как река, разливающегося к вечеру, ночь—такое огромное счастье, награда за всю усталость, слабость и жажду.

Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в другую, от песчаных гор к плоскогорьям, ровным, твердым, похожим на плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла надписи.

Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг от друга отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное небо.

И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригнулась лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в пыли, в увядшей листве — везде живое. Пепельные ящерицы оставляют на пути извилистые следы; упрямые скарабеи среди золота и янтаря раскаленной дороги скатывают свои навозные шарики. В колючих кустах шелестит саранча, кузнечики дождем сыплются из-под конских копыт, и воздух полон их сухой скрипичной музыкой.

Проходит час, другой, третий,—время превращается в длинную, красную ленту, дорога — в содрогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так близко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его длинными и вместе мгновенными вспышками.

И тогда мне предстает Белая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.

VIII.

Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и животные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудренной поверхности.

После короткого отдыха трубит гортанный рожок, дикая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые медленно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони, цепью скованные друг с другом, продолжают свой путь, и только изредка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием старается сбросить со спины гнетущие ящики. Постепенно долина сменяется холмами, и первые всадники вступают на горный перевал. Дикая и прелестная картина: горы как-то неожиданно, почти внезапно сменяют плоскогорье.

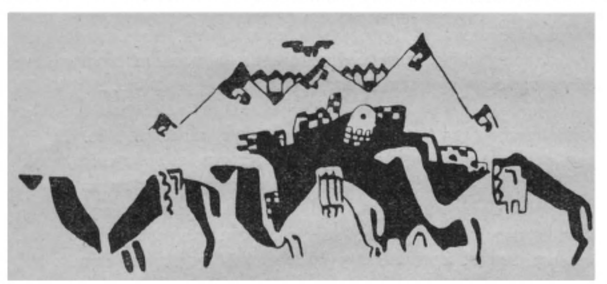
Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями прохладных пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому неведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творческого акта, который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденным жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на их несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, вот башни, поднятые к солнцу и не знающие головокружения на своей орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга, и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. По лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные ручьи.

Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спускаются, наконец, на дно новой долины, где по каменистому ложу бежит горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чистую и холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились приготовлять современники, высится конусообразная башня — сторожевой пост Тамерлана.

Дальше, уже на краю пустыни, лежит его дворец, преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной — груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчатая палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи и удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых сводов, похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропу-

скающие солнечный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и пряный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными корками,— может-быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бряцание кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоватой, с ногтями, окрашенными хенной, спешили десятки слуг, белея чалмами, постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфель. Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных игр, горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую лошадь под белым чапраком, с ожерельем бирюзы на молочной шее. И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый хазареец и бледнел, если за нею раздавался смех.

Издали трубит гортанный рожок, и наши лошади несколькими скачками выбираются из развалин на палящий простор. Высо-



кая, пошатнувшаяся арка провожает нас молчаливым благословением: ее мягкие очертания — две сомкнутых руки, усталых, готовых опуститься.

Опять дорога по плоскогорью, ровному, безмолвному, горячему. Одинокая деревня без построек, даже без устоев из дерева. Глина, скомканная человеческими руками и высушенная солнцем. Шатры из черной прокопченной и промасленной ткани, низкие и широко разостланные по земле. Под их сенью, в грязи и полумраке, целые семьи: дети поразительной красоты, пастухи и их стройные жены, которых нищета и труд освободили от чадры. В широких тазах они подносят воду и кислый кумыс утомленным всадникам так же просто и величаво, как это делали библейские женщины.

Изредка колодезь, прячущий свои влажные ладони, полные утомления и прохлады, под остроконечной каменной шапкой.

Полдень, потом за-полдень; весь мир охвачен торжествующим солнцем, погружен в голубые и белые бездны огня. Вся земля в сладостном, смертельном головокружении сползает в золотую пустоту.

Уже не помня себя, ничего не чувствуя от усталости, приближается караван к подножию гóр, к расселине, где источник дает жизнь нескольким деревьям и пастбищам. И тут на голом месте возникает целое чудо: уже ждут палатки, устланные коврами, с накрытым столом посредине.

С ржаньем и щелканьем бичей останавливаются грузовые лошади. Конвоиры, сбросив винтовки и нелепый кавалерийский мундир, превращаются в толпу слуг, быстрых, бесшумных, как духи „тысячи и одной ночи“. Они несут кувшины с водой, ковры и веера и накрывают ужин прямо на траве; зажигаются ночные лампады: это—хрустальные тюльпаны на длинной серебряной ножке, и в матовом их пламени архаические персидские львы заносят над мягко тлеющим фитилем свою державную лапу. Лагерь кострами, лампами и палатками, как сновидение белеет и блестит средь пустыни.

Падают крупные звезды, иные нисходят до темных ночных деревьев и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!

IX.

От Герата к Кабулу.

Нигде мертвое так близко не прикасается к живому.

Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Герируд. Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву, сосет прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь над рожью вечная свежесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов,— вино и вода в стакане солнечного цвета.

Среди безмятежных полей частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и усмирений хазарейцев.

Красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близкие небу, в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга, и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит, как свистящий, стремительный, пенистый меч.

Тропинка бежит под нависшими валунами: они, как исполинские каменные жабы прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг — кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может-быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или, утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить и итти, и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немым покоем. Но все кругом,— обрывы, скалы, пыль и щебень,— все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов — из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.

Из такой глины был вылеплен человек.

X.

Вершины. Их покатые плечи в цветах, едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором. Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они — неописуемы. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу поднимаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы; громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого,— когда они вместе.

Может-быть, большой поэт, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил весь свет, пролитый на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и солнце подымаются в вечность, как неслыханные цветы,— и легче, чем медузы. Или дикарь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том, что ею нельзя владеть вечно.

XI.

Среди пологих холмов встретили большие стада овец — маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой, и много птиц, почти синих. Встретили и семейство гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.

Был еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо, как всегда на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней, в дуновение мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.



Последние девять верст вдоль реки, имеющей зеленовато-мыльный цвет, летим, как безумные, по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни острее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные кряжи ослепительными потоками, не имеющими окраски.

XII.

На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого гератский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру. Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная, обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка, два шара, сросшихся над его желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы с шлемом. Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознавая неле-

пость своего положения, баран не ест и худеет, и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой, разговорчивой козой: может-быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полусмерти, если с ним что-нибудь случится. Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне сгоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу.

И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости.

XIII.

Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати-пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид: расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей,—все это, как тысячу лет назад.

Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого, тоже крепко огороженного двора, выведена сводчатая галлерейка, и тут под арабскими нишами пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего огня, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром — золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.

Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло синее, на нем розовое, на грязно-розовом—грязно-фисташковое, а сверху „хануми сафир-саиб“, снедаемая отвратительными „верблюжьими“ клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники-слуги с чаем, и сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.

Странные люди — эти афганские слуги.

Сами они лишены всяких потребностей, — им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана, — и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед, — великан и красавец, подает к столу солонки, только солонки, не больше и не меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение, — эти дешовые базарные штучки со своим никкелем и мелкими дырочками.



Худодад — вообще уже не Худодад: он — тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые зашлепали всю его жизнь, то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, то недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами, Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды, — он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного, и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвоиров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, пови-

нуясь инстинкту, бессмысленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия.

И точно так же, как Худодад относительно своих солонок и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Герируда. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устий и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды, дающей ему хлеб и виноград, но, как правоверный свою молитву, лениво и механически исполняет великий обряд орошения.

И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук, и песок не засыплет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища.

Худодад, у которого разбита тарелка или недостает солонки, перестает быть человеком.

Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как-будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубит вечернюю зорю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.

Вечер — время чая, походных дневников и писем.

Так как мы — „сафир-саиб“ (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унизительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах.

XIV.

Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя: пыль, смешанная с водяными брызгами. Это — водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны

завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи, и на него спускаются концы длинных, грустных усов. Водолей получает 4 рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под вьюка черные уши на белой подкладке. Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных—с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снедаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы,—так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, отставшие от длинного, бесконечно-изнуренного каравана.

Водолей—самое низкое лицо на рабате, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.

XV.

Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они — корона цепи 14.000 фут. вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи со слабым, как бы выветрившимся дыханием—единственные цветы мертвых гор.

У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга северной Греции.

Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.

XVI.

Все тот же возвышенный холод.

Горы обрызганы темной росой редких трав, они пологи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни, и на них страшно смотреть,—так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И, обглоданные, источенные веками, они сами еще

больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые, как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немыми усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней, нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор, и розовый, и серый с черными венами,—все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.

И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были,—и облачные, и ясные; все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек, и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорил земле: „Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах".

XVII.

Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острее в мягкую пыль, вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном воздухе, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку. В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее, и вдруг это уже плящущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец. Он движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано. Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, в безветренной буре развевает свои ветви, согнутые в дымные хлещущие луки.

XVIII.

Ночлег. Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.

Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безыменное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро-режущие, прозрачные и сладостные края.

XIX.

Взяв приступом последние перевалы,— скалистые, цветущие самыми яркими и разнообразными породами камней,— дорога, наконец, спустилась на дно Кабульской долины. Это—самая цветущая и оживленная часть Афганистана, по крайней мере, его юго-восточной части. Шоссе покрыто тенью богатых садов, и скалы, ее обрамляющие, только своим багряным цветом напоминают дикие застенки горных перевалов.

Несчастные лошади, привыкшие переходить под палящим зноем тысячефутовые кручи, исхудалые, как скелеты, с опущенной головой и огромными натертыми ранами у передних ног, теперь оправились, пошли веселее, бодро покачивая пятипудовые яхтаны. Все чаще навстречу нам идут караваны верблюдов, груженных хлопком. За гладкими, как бы голыми матерями, у которых при каждом шаге мягко раздается широкая сильная ступня, похожая на исполинскую руку, бегут тонконогие верблюжата, мигая темно-голубыми влажными глазами новорожденных. Среди зелени высоких, узеньких тополей мелькают пестрые одежды купцов, свесив ноги, медленно едущих на сильных мулах или неторопливых лошадях под тенью старого, грозно растопыренного черного зонтика. Обгоняем несколько женщин, идущих с открытом лицом,— это крестьянки со смуглым, низким лбом, глазами и профилем античного еврейского типа. Круглые, костлявые головы горцев и узкие глаза цвета янтаря и заржавленного железа здесь, в Кабульской равнине, уступили место мягким овалам и бледности породистых хищников. Люди красивого, крупного сложения. Особенно хороши дети. Они, как темные птенцы, унизывают глиняные стены домов, блестя агатовыми глазами из-за их зубцов и башенок.

Возле горы, покрытой белыми обломками античной крепости и кубическими постройками афганской деревни, в роще из странных деревьев, покрытых узкими, тусклыми, как бы шелковыми листами, расположены священные пруды. Бассейны не особенно глубоки, и наполнены холодной, прозрачной водой горного ручья, сохранившего голубоватый цвет снега.

К их поверхности ниспадают ветви пепельно-зеленой ивы, где покачивается клетка добродушной и крикливой перепелки, — любимицы всех афганских садов и базаров. Она пронзительно и все же музыкально покрикивает, обчищая о прутья свой коралловый клюв. Изредка какое-нибудь зерно падает в воду, и тогда вся ее светлая поверхность вдруг оживает, темнеет и бросается к одному месту, отбрасывая на дно тысячи темных теней, свинцово-синих стрел. Это—форели священных прудов. За каждой крошкой хлеба их неуловимые стада летят так стремительно, что вода кажется собранной и завязанной в кишащий переливчатый узел.

Свесив одну ногу к источнику и положив руку с серпом на согнутое колено другой, жнец, отдыхающий от работы, сидит совсем неподвижно. Он дремлет с открытыми глазами или погружен в напряженную мечтательность, для которой быстрые хищные рыбы в холодном зеркале чертят серебряные лезвея.

Женщина, оставив на верхней ступеньке свои туфли и отстранив от лица покрывало из синего полотна, моет круглый кувшин, потом наполняет его и, не спеша, удаляется. Все вместе—спокойствие, шелест, плеск и тепло, смягченные трепещущей тенью.

Жатва между тем уже достигла в долине того напряжения, которое делает ее похожей на старый языческий праздник. По межам, которых еще не коснулся серп, движутся все те же, собранные на затылке в тысячу плавных складок покрывала женщин. Занятые совершением неведомого нам обряда, они не опускают чадры, и в синеве одежды и золоте хлеба видны их сосредоточенные, темные и правильно-архаические лица. Они идут, изредка нагибаясь, и каждая из этих матерей, освящающих поле, собирает в своей руке пучок самых крупных и червонных колосьев. Со снятых полей ветер доносит щекочущую пыль соломы и зерна. Здесь хлеб сложен огромным костром, на котором пылает весь огонь плодородного лета. Черные волы, заменяя собою цепы и подгоняемые всей семьей, медленно переступают круг за кругом и топчут снопы, из которых течет зернистый дождь. Жницы, отделяя солому, встряхивают ее высоко над головой, и сквозь янтарную и сияющую дымку сухой пыли и солнца просвечивают их синие холщаные покрывала и красные шаровары. Жар в зените. Утомленные стада прячутся в тени частых, но еще юных и пронизанных светом тополей, которые образуют аллею не вдоль дороги, а вдоль ручья, влагу которого они и пьют, и охраняют. На самом солнцепеке, среди местности совершенно пустынной,

сереют прижатые к земле постройки. Ветер издали доносит их запах, запах нагретой глины и абрикосов. Старик, безразличный ко всему, разложил в пыли свои огненно-желтые товары.

Вот, наконец, и последний рабат. Лошади ускоряют шаг в виду его квадратных стен и равномерных, землистых башен, какие воздвигают термиты. В последний раз — рожок у ворот, ведущих отлого вниз, точно в глубину. Два солдата, приложившие руку к запыленным вискам. Пронзительный крик барана, которого режут на ужин, облако пыли, поднятое ветром из-под стреноженных, непрерывно жующих грузовых лошадей, — все, что составляет в пустыне покой, отдых, почти счастье.

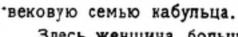
XX.

Еще очень рано, очень тихо. Садовники поливают свои клумбы — тысячи пестрых, незатейливых, но очень душистых цветов, посеянных прямо среди дикой травы. Возле прудов моются усталые солдаты, караулившие нас ночью, и без меховых шапок и мундиров видна вся их старость, похожая на пепельное и голое разрушение камней: их служба обязательна и пожизненна. Еще молчит в своей клетке, подвешенной к яблоне, красноклювая перепелка. Ночью ей не дает покоя электрический фонарь, на который она смотрит бессонными, кровавыми глазками и, вероятно, проклинает цивилизацию своей дикой родины. Среди зелени — крыши ближней деревни, но туда не стоит смотреть. Там начинается глиняная нора, полная первобытной нищеты и грязи, которой все равно нельзя коснуться. А вот тополь. Он здесь совсем близко, с белым стволом, почему-то раздвоившимся к верхушке, зеленый, полный движения и говора, — по ночам он притворяется белой худенькой березкой и тревожит и мучит знакомым трепетом листьев, — течением лунного света вдоль узких ветвей. Но о России я не хочу, не смею думать. Голод! — радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам. И каждый из нас берет свой кусок сладкой баранины, которую подает любимый камердинер эмира — старая, дрессированная обезьяна в белых перчатках...



Мы приехали!

Об афганской женщине, о сборе винограда и о плясках племен.

Не зная местного языка и не принадлежа к исламу, в такой замкнутой стране, как Афганистан, совершенно невозможно приблизиться к народным массам и тем более проникнуть в средне-вековую семью кабульца.

Здесь женщина больше, чем в других восточных странах, отделена от жизни складками своей чадры, едва просвечивающей на глазах, собранной в тысячу складок на затылке, ниспадающей до кончиков загнутых туфель без задка, еще больше связывающих ее слепую походку.

В пестрой толпе, следующей верхом на осле за длинным караваном кочевников, несущих за верблюдами колья палаток, оружие и загорелых детей,— везде видно и не видно женскую тень. Ее лица не знают даже грудные дети, которых матери держат перед собой на седле из пестрых лохмотьев. Кажется, что этих здоровых ребят с обведенными сурьмой глазами, с медными кольчиками на ногах и руках, с яркими бумажными цветами на шапочке держат не матери, а призраки с замуравленным лицом, неживые, немые, недоступные. Вы поравняетесь с одной или несколькими женщинами,— они уступят вам дорогу и проводят долгим, скрытым взглядом. Что

они думают? Завидуют, осуждают, смутно надеются? Всадники спешат мимо, обдавая пылью или брызгами грязи темно-синие покрывала, которые даже не защищаются. Пролетит автомобиль пугая верблюдов, сгоняя в канавы ослов, груженных серебристыми кусками срубленных на дрова тополей, где-нибудь на повороте колесо зацепит чадру простолюдинки, подомнет ее под себя и выкинет помятой и стонущей из-под крыла. К упавшей подойдет прохожий, отнесет ее, не поднимая чадры, на край ближнего поля и оставит там в обмороке,—пораненной или просто оглушенной,—не все ли равно? Это только женщина.

К счастью, тяжелый труд и нищета давно освободили жену пастуха и крестьянку от почетного стеснения чадры. На горных перевалах, в замкнутых долинах, запрятанных на альпийской высоте, афганка работает с непокрытой головой, с голыми руками и шеей, сожженной солнцем.

Ее пшеничное поле, устроенное у подножия скал, тщательно очищено от осколков лавы, мрамора и гранита. К нему с гор проведены серебристые нити ручьев, которые постоянно нужно поправлять, загораживать плотинами, сливать в более сильный поток, или разделять на тончайшие оросительные канавки. Вода в песчаных горах—это жизнь; она нужнее огня и хлеба. Мужчины и женщины в одинаковой мере несут тяжелый труд по очистке и углублению арыков. В густом остро пахнущем камыше, которым влага защищена от июльского зноя, под тенью тутовых деревьев, разомлелых от жары, где камни и листва прикрывают оплодотворяющий источник, рядом с мужем отдыхает и работает жена, стройная, черноволосая, вылепленная из старой танагрской глины со своим греческим лицом, красными полотняными шароварами и сильными золотистыми руками.

Это она спокойно, с открытым лицом, обходит вечером зубчатые стены своего дома,— глиняной крепости, одиноко стоящей в горах, на краю дороги, некогда проложенной Тимуром и Александром. Она переворачивает связки клевера, вялого и душистого, уже подсушенного за день солнцем. Гонит домой баранов или вращает привычным быстрым движением первобытную прялку, висящую на бесконечной нитке верблюжьей шерсти. Это—зажиточная крестьянка горной области Хазареи. Чем беднее племя или семья, тем свободнее и красивее ее женщины. Нищие кочевницы, у которых нет ни дома, ни глиняных стен, ни абрикосового сада, уже совершенно свободны от законов, навязанных прекрасной

Айше ревнивым Магометом. Они живут в просаленных, черных шатрах, раскинутых прямо на жгучем песке. Рожают и растят детей в грязи, в дыму очага, на овчине, острый запах которой так ненавистен насекомым. Прекрасные, как боги, свободные, как все парии, они идут, куда их семью ведет голод. Осенью — к границам Индии, весной — на прохладные горные пастбища Афганистана.

Население афганских городов, в том числе и Кабула, почтительно расступается при проходе кочующих племен. Их боятся, ими дорожат, как серьезной военной силой и... угрозой англичанам. Эти горцы, установившие для себя исключительное бытовое положение, едва ли не единственное на всем мусульманском Востоке, ревниво оберегают свои независимые границы, не только у себя дома, на Гималаях, но и в городах, на базарах, через которые они проходят, играя красивым оружием, похожие скорее на варваров-победителей, чем на бедняков. Их женщины и здесь не одевают чадры, — сильные, надменные матери, бронзовые жены, на которых не смеет взглянуть ни один законник Большого базара, ни один святой с плотоядным взором и желтой кожей, испорченной пороком, на виду всего народа совершающий свои молитвенные обряды, без того, чтобы не наткнуться на горячие глаза и серебряные дула горцев.

„Племенам", как их принято называть здесь, принадлежит первое место не только в истории раскрепощения мусульманки, но и в борьбе Востока за его политическую независимость. В истории Индии, усмирения которой славятся своей исключительной жестокостью, усмирения пограничных племен были самыми беспощадными. Но зато и восстания, поднятые горцами в этих трудно доступных областях, нанесли английскому владычеству первые и самые серьезные удары. Там, где маленький народец без поддержки извне и без надежды на решительную победу в

течение ста лет слишком защищал свою независимость против сильнейшего в мире завсевателя—Великобритании, не могло не сложиться наравне с оригинальным бытовым укладом и эпическое национальное искусство. И так как племена все это время были отрезаны от остальной Индии военным кордоном и линией не утихавших пограничных столкновений, а на севере опирались на Афганистан, который сам немногим превосходил культурный уровень племен, то этот порыв национального творчества, вдохновленного столетней борьбой за независимость, вылился в первобытные и могучие формы боевой песни, воинственный танец и музыку, его сопровождающую. На фоне общего всему Востоку художественного упадка, который захватил, конечно, и Афганистан, эта струя творчества производит особенно сильное впечатление.

В горах осыпаются сторожевые башни, в Герате падают и растаскиваются дивные минареты, вместе с которыми человечество теряет тайну приготовления чистой лазури; фрески смыты дождями, мрамор уцелел только на знаменитых гробницах, хотя и там его крошат корни вековых деревьев, выросших из могил. Стих окаменел, из поколения в поколение перепеваемый с старых персидских образцов. Это — в духовных училищах. При дворе он выродился в двусмысленные куплеты, распеваемые на мужских вечеринках. И только удивительный народный вкус уцелел и проявляется в уменье разложить пестрый товар, зажечь над ним светильник с тремя горящими кистями и перебросить грозди винограда, или завернуться в свой рваный плащ.

Любовью к краскам каждый погонщик ослов на большой дороге, каждый нищий, изъеденный пендинкой, одарен в тысячу раз больше любого театрального режиссера, иступившего свои глаза на нашей мерзкой европейской одежде.

Из всех видов искусства и художественного ремесла, пробивающегося через толщу схоластического невежества и вековой пыли, дикие пляски и песни племен — самое живое и значительное.

Совсем недавно, осенью этого года, племена устроили в Кабуле настоящую художественную демонстрацию. Это было во время праздника независимости, совпавшего, между прочим, с годовщиной Октябрьской революции. Бедная событиями, прозябающая общественная жизнь оживляется в эти „тамашой". Город наводнен пестрой толпой, в которой можно видеть представителей

всех сословий: индийских менял с их желтыми тюрбанами, купцов в шелковых халатах, горцев с блестящим оружием и темными шерстяными плащами, бухарских эмигрантов с плоскими бесцветными лицами, опухших от лени сатрапов с примесью беспокойства и озлобления, естественного в их новом положении приживальщиков при иностранном дворе. Стая шпионов объезжает всю эту праздничную толпу на велосипедах, по которым их и узнает всякий уличный мальчишка. Солдаты в европейских мундирах шпалерами охраняют общественное спокойствие, разгоняют прикладами прохожих перед каким-нибудь знатным лицом и воздают конвульсивные почести автомобилям и каретам, проносящимся мимо. Лошади бросаются в сторону от неистового барабанного боя, южный ветер полощет бесчисленные флаги (в том числе и красный РСФСР),—словом, праздник в полном ходу. Эмир держит пари на слонов, на воспитанников военной школы, на двух генералов, объезжающих фронт, из коих один придворный шут; на велосипедистов, на русского и английского посла,—кто из них первый поклонится своему ненавистному собрату.

Но к смиренному ротозейству толпы, принимающей, как должное, тумаки скороходов и удары плеткой именитых всадников, к усердию солдат и толстой спеси торговцев, к бледной и злой немочи казиев, шествующих под солнцем в черных узких сюртуках и во всей лютой славе шариата,— племена сумели прибавить так много своего, героического и дикого, что этот казенный праздник, действительно, стал народным и оставил в толпах предчувствие общественных отношений, пронизанных, как этот день, горячим и прямым светом.



Их позвали плясать перед трибуной эмира—человек сто мужчин и юношей, — самых сильных и красивых людей границы, среди которых голод, английские разгромы и кочевая жизнь произвели тщательный подбор. Из всех танцоров только один казался физически слабым, но зато это был музыкант, и какой музыкант!

В каждой клеточке его худого и нервного тела таится бог

музыки — неистовый, мистический, жестокий. Дело не в барабане, который своей возбужденной дрожью зажигает воинственных кочевников к пляске, а в полузакрытых глазах, в нетрезвой, страшной бледности лица, в напряжении всего тела, которое прикасается то к одному, то к другому ряду танцующих, как раскаленный смычок к струнам древнейшей скрипки.



Самый танец—душа племени.

Он несется высокими скачками, как охотник за добычей. Он раскачивается из стороны в сторону, встряхивая головой в длинных черных волосах, колдует и опьяняется. Пляска бьется, как воин в поле, умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, которым в Пенджабе и Малабаре бьют крупного зверя и — повстанцев. Наконец, танец побеждает и любит с протянутыми вверх руками, радостно, на-лету, как орлы в горах, как люди на старых греческих вазах. Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Племя садится в круг, прямо на земле. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает, точно гортанным смехом, тихой щекочущей дробью.

— „Англичане отняли у нас землю,—поет певец,—но мы прогоним их и вернем свои поля и дома“.

Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.

— „Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву,— вы нас никогда не победите“.

Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей.

— „К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги,—есть большевики, которые идут заодно с мусульманами“.

И толпа смеется, рокочет, теснится к трибунам.

„Большевик"—это они понимают. О большевиках поют песни на окраине мира, на границах Индии. „Большевик"—это звучит так гордо и сурово у певца, поднявшего над головой винтовку,—английскую винтовку, снятую после боя с побежденного врага. И барабанщик скалит хищные белые зубы, перебирая веселыми, тонкими, хитрыми палочками.

Машин-хане.

(Дом машины).

Когда-то старинные крепостные стены сходились над узким выходом из Кабульской долины, как сросшиеся брови. Затем время, великие завоеватели и торговля пробили брешь в стенах, и ею воспользовались оросительные каналы и шоссе. Наконец, в том месте, где справа и слева от дороги по рваным, ломаным и голым скалам висит разорванная пополам змея стены, показывая в курящийся зной и на бледном, отдыхающем небе заката щетинистый, зубчатый хребет,—возникла первая в Афганистане фабрика.

В ее фундамент вошло немало камней из старой крепости,—камней, которые рабскими руками волокли вверх по отвесной стене и живым соком прилепляли к ребрам скал и жестким и жгучим горным плечам там, на высоте, под самым небом. И хотя завод строили англичане, хотя по вечерам ряд его блистающих окон вызывает во мраке мираж иной цивилизации,—блуждающие огни старых кладбищ, свечи, тлеющие в тихих нишах в горах, тайно подмигивают электрическим созвездиям, и прерванная стена крепости связана этим новым звеном „машин-хане" так же прочно, как прежде стуком патрулей, криками строителей и тех, кто лез на старые зубцы с ножом в зубах и срывался вниз с окровавленными коленями, с разбитым кожаным щитом. В основании завода—камни, скрепленные рабским потом, старые, седые, ядовитые от времени уроды.

Днем вся долина машин-хане седеет от зноя. Мимо тащатся солдаты, пешеходы, ремесленники и кочующие племена. Ослы и верблюды подымают густую пыль, и ветер ущелья, сквозняк, неистово влетающий в тесные Кабульские ворота, делает из нее серые паруса. Напрасно огородники, по колено в ары-

ках, бросают воду под ноги прохожих деревянными лопатами; запах мокрой пыли, как и свежий запах лука с их грядок, делает еще гуще и терпче горячее дыхание дороги. Огороды и хлебные поля доходят до самых стен завода, охраняемых часовыми. Средневековое земледелие смешивает свое дыхание с запахом машин; вода, обежав ячмень и клевер, кукурузу и абрикосовые сады, еще холодная, чистая и душистая, льется в фабричные желоба, котлы и турбины.

В первых шерстяных отделениях густой запах курдючных баранов, конюшен, парного молока, шерсти, прелого стойла. У машины, небрежно и устало опираясь на пастушеский посох, стоит древний Иаков, библейский пастух с открытой грудью и белым тюрбаном; возле своей динамо он так же гол, прост и покорен, как у стад своего ветхозаветного патриарха.

В общем, Восток, ведь, немой. И суета базара, и движение больших дорог, и кладбища с плоскими острыми камнями на могилах, похожими на зазубренные ножи доисторического человека, — не что иное, как тишина, в которой роятся краски, сгустки света и теплой энергии, совершенно как пыль в солнечном луче.

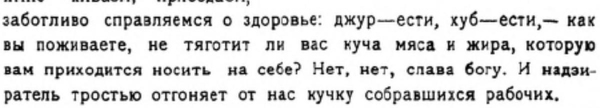
Все в зрении минутно, изменчиво и неподвижно в движении, — ну, да, неподвижно, как смерть. И вдруг в сердце самой горячей долины, в средоточии восточной немоты, на дворике, мощеном столетними камнями, из которых каждый имеет свою длинную и забытую миром историю, в стенах голых и горячих, как скалы или кладбища, где ни одна живая тень не осеняет каторжный труд, где нет ни влаги, ни ленивой зелени, где одна только пленная перепелка, повешенная в ивовой клетке на пороге мастерской, отчаянно и нежно кричит, разинув от жары свой клюв, — навстречу вам из корпусов, похожих на овечьи стойла, из низких дверей, выдыхающих запах скота и рабочего пота, с клекотом, с судорожной торопливостью, с бешеной настойчивостью стучат молоты и молотки, скрежещут железные челюсти машин, и электричество, наклонив шею под деревянное ярмо первобытного земледельца, задыхаясь и дрожа от бешенства, волочит тягчайший плуг.

Этот шум, этот живой трепет машин после полуденной лени полей производит впечатление потрясающее: это заговор против старых гор, мечетей, магометанского неба, лени, смирения и вялой нищеты.

Вся кровь бросается в голову,— ведь, год не видели этой копоти, не трогали машины, согретой, живой. Серый кирпичный фасад, почерневшая рама дверей, лязг металла — может-быть, чудо? Не Путиловский ли, не кронштадтские ли мастерские?

И страшно на минуту, и жгуче-весело. Сейчас из этих низких дверей хлынет знакомая толпа, сам великий заговорщик, притаившийся в пыльной долине Кабула.

После тучных афганских взяточников, после слащавых иностранцев, после выдержанных англичан, у которых для нас есть такие корректнейшие улыбки, пересекающие лицо, точно поперечный надрез на кончике пули, хочется пить, пить душный фабричный воздух, пить напряжение, пить чистую пролетарскую злобу, выдержанную, как в сухом погребе вино. Как в лихорадке, не могу понять широкой, мягкой туши, которая уже стоит перед нами, кланяется, прижимая руку к тому месту, где под жиром, фланелью и кончиком пестрейшего платочка должно быть ее, тушино, сердце.



Директор завода. Взаимно киваем, приседаем, заботливо справляемся о здоровье: джур—ести, хуб—ести,— как вы поживаете, не тяготит ли вас куча мяса и жира, которую вам приходится носить на себе? Нет, нет, слава богу. И надзиратель тростью отгоняет от нас кучку собравшихся рабочих.

В первых сортировочных мастерских еще деревня, скотный двор. Подростки, сидя на глиняном полу, щиплют и раскладывают горками черную, рыжую, белую шерсть. И не рабочие, а подростки-поденщики, которым сегодня—фабрика, завтра—косьба в поле, поливка дорог,— все равно. Дети безземельных крестьян, которых фабрика пососет неделю-другую, а потом выкинет, как шлак, не наложив никакого профессионального отпечатка, кроме разве желтой бледности и чесотки.

В доме машины (точный перевод афганского термина „машин-хане“) они не пойдут дальше прихожей и выгребных ям. Надзиратель хлещет по их голым спинам, как по осликам, флегматично перебирающим крепкими тонкими копытами под балдахином навьюченной зелени.

Прикосновение первой же машины уничтожает патриархальный вид помещичьего двора. Зубцы машины расчесывают всклокоченную шерсть и заодно — нервы, мускулы и уклад крестьянской жизни. Горячим дыханием пара со стальных деребенок сдуваются белые мягкие хлопья шерсти. На стропилах и стенах они висят инеем, зимним легким кружевом. Ласточки несут себе в гнезда под потолком это добро, потерявшее уже полевой запах. В воздухе легкая дымка коротких белых волосков, шерстяная пыль, вьюга, наносящая сугробы на легкие рабочих. Лица бескровные, в крупных каплях пота, бессмысленно заверченные кружением ремней. Люди, проглоченные и переваренные первой машиной. И дальше, чем сложнее аппараты, чешущие шерсть, свивающие ее в нить, потом в широкую мягкую и теплую ленту, тем больше испуга на лицах крестьян и пастухов, обслуживающих непонятные для них бердовые колеса, винты и зубья.

Точно с язвительной карикатуры эта сцена: голый до пояса, высушенный тропическим жаром и искусственным летом машин, седой работник своим старым крестьянским серпом счищает с двухаршинной шпульки остаток прилипших ниток. Над ним толстый директор,— толстый неимоверно, неприлично, до того складчатый и мягкий, что в сборках его живота однажды во время купанья задохлась лягушка, о присутствии которой узнали через несколько дней по неприятному запаху. Сколько еще поколений рабочих заживо сгниет в складках восточного жира, пока это тучное тело, в свою очередь, не пойдет на удобрение!

Другая картина. На стене—аппарат, измеряющий крепость пряжи. Он ее рвет постоянно, все увеличивая нагрузку. На циферблате крупными, деловитыми английскими буквами—„Манчестер“, в уровень с ним голова старика в белом тюрбане, с глазами темными и глубокими, похожими на те дыры, которые роют какие-то зверушки в сухой и голой земле могил. Он следит за нитками, которые тянутся, дрожат и рвутся, его научили различию цифр, движению бегающей по кругу стрелки. Но

когда же эти красные от пыли глаза поймут магическое слово, название великого промышленного города, поймут таинственный привет, который эта машина передает в пустыню оттуда, из столицы машинного царства и эксплоатации, где уже грудь с грудью схватились труд и капитал!

„Манчестер“—это значит: мы победим. „Манчестер“—не отчаивайся: мы, твои братья, идем тебе на помощь, через 50, 100, пусть даже 200 лет, но наши руки встретятся. И машина яростно шелестит: „ну, да, ну, да“, хотя никто еще не слышит и не умеет понять ее голоса.

Машина—жестокая учительница. На сто крестьян, обслуживающих ее, она вырабатывает одного рабочего. Съест, исковеркает, выпьет целые деревни, чтобы выплавить первый промышленный пригород. На крепостной кабульской фабрике, где бьют палками по голым плечам, где в закроечной какие-то живые трупы, старики и дети, или то и другое вместе, огромными ножницами дьяволов Гойи как бы отрезывают себе ткань на саваны, где хозяин фабрики—вотчинный помещик, главнокомандующий, шеф полиции и абсолютный монарх в одном лице,—на этой фабрике все же успели образоваться пролетарские дрожди, нечто, носящее в себе будущую историю страны.

Это—ткачи,—высоко-квалифицированные рабочие, собранные со всей страны для поощрения местной промышленности.

На них тяжелее всего ложится полукустарное и крепостническое, полуевропейское хозяйство. Их станки представляют из себя своеобразную смесь IX и XX веков, электричество только помогает мастеру,—его искусные руки остаются главным орудием производства. Челнок приводится в движение веревкой, обмотанной вокруг левой кисти, в то же время ногой ткач меняет цвет пряжи, вводит в нее новые оттенки сообразно узору. Труд, требующий личного вкуса, ритма, напряженного внимания. Фабричный темп сказывается только в безжалостной механизации этого чисто-ремесленного искусства, в установлении нескончаемого рабочего дня,—одним словом, в превращении живого мастера с его навыками, уменьем, индивидуальными способностями в двуногую машину.

В этом отделении наглая тросточка надзирателя как-то ни разу не проявлялась, и даже величественный живот директора не снискал привычных почестей. Никто не поднял глаз от работы, никто не улыбнулся. Только челноки с каким-то отчаянным

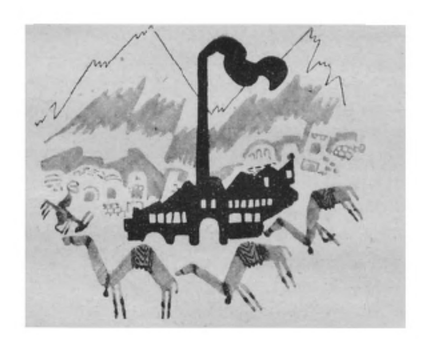
нетерпением, с грохотом продолжали бросаться из стороны в сторону. Если бы вещи могли приносить счастье или несчастье, я бы не позавидовала тем, кого оденут эти плащи и одеяла, насквозь пропитанные здоровой классовой ненавистью. Еще несколько лет, и эти тонкие, вымирающие на фабрике художники-мастера, которые все крушение своей неторопливой, пестрой жизни, пригретой солнцем сквозь щель базара, видят в фабрике и электричестве, поймут, что машина — их единственный союзник, из рабов станут господами этой небывалой на Востоке техники.

Вот, наконец, сердце машин-хане. Черная пещера, такая жаркая, что платье сразу прилипает к телу, чувствуется головокружение, и так странно запах смазочных масел перемешан с ароматом ванили. Где-то близко за стеной цветет молодое миндальное дерево.

Котлы до потолка, топки, открывающие на минуту красный рот, обведенный полосой побелевшего железа, и бесконечные ремни, и прерывистое спертое дыхание, точно все это громадное пылающее отделение бредит о море холодной воды, о синей ледяной глубине, чтобы потушить в ней свое сгорание. И вот хозяин всего этого святая-святых, повелитель огня, света и энергии. Тонкое лицо, мягкие черты индуса, тюрбан, связанный ровно, как на статуях Будды. И как только увидел, как только обернулся, у него на лице тонкими белыми языками бледности, такой, какая окружает металлы молочным нимбом в минуту их высшего сгорания, написалось странное, страшно-нежное, прозрачное братское выражение. За шумом, все равно, в этом аду слов не слышно. Но было так, как-будто мастер успел сказать нам несколько особенных человеческих слов, которые мы никогда не должны забыть. Так, точно он, уже увидевший в подземном огне своих котлов весну мира—предсказанное горение,—из года в год, из часа в час, задыхаясь в своей горячей тюрьме, ждал этой минуты, чтобы сказать, как его испепеленная жизнь ясно уходит в огонь.

Какое одиночество должен испытывать этот погибающий между тростью, директорским животом и раболепными, битыми, перепуганными массами, все классовое сознание которых не шагнуло еще дальше мальчишеского озорства и ненависти разоренных ремесленников к их мучителю — машине.

Директор заметил странную улыбку и волнение своего высококвалифицированного, дорогого и опасного раба, подвинулся ближе, насторожился. И, не находя слов, немой от грохота машин, стесненный присутствием рабовладельца, мастер только крепко пожал руку и быстро отвернулся,—кто знает, отвернулся на всю жизнь, которая пройдет в одиноком, почти мистическом предчувствии революции.



Плацпарад.

Горячее, плоское, выметенное ветрами поле, вокруг которого пыльные и голые горы лежат рыхло насыпанными кучами, как труха и солома вокруг гумна.

В глиняную чашу, образуемую долиной, льется поток немилосердного света. Все внизу должно умереть, растрескаться, изойти жаждой, развеяться покорной пылью,—или солнце в этой печи выплавляет золотые металлы, которые когда-нибудь блеснут на костре сожженной земли прохладно и радостно, как отдыхающие после смертельного жара скрещенные руки на груди больного.

На этой жгучей площади ежедневно производится военное ученье. Медные трубы, отливая на тропическом солнце, стоят поодаль и кричат на проходящие войска однообразно и самовлюбленно, как все военные марши всего мира. Полки маршируют в полной форме, т.-е. в теплых мундирах, в тяжелых зимних сапогах. Маршируют часами на этой пыльной сковороде, на которую солнце, как масло, подливает 60-градусный зной.

В большинстве солдаты поражают своим маленьким ростом, тщедушием и молодостью. Подростки, которых особенно много, отбывают воинскую повинность за богатых купеческих сыновей, за аристократию базара. По местным законам, всякий новобранец имеет право нанять вместо себя заместителя,—мера, благодаря которой большинство армии состоит из безземельных крестьян и Lumpen - Proletariat'a, особенно этого последнего. Наоборот, высшее офицерство подбирается и выращивается с оранжерейной тщательностью, в непосредственной близости к трону и эмирской семье. Детьми, т.-е. игрушечными кадетиками 6—10 лет, они бывают приглашены даже на женскую половину двора в дни коронации и праздников независимости.

Здесь, среди шуршанья женских юбок, под аккомпанемент балованной возни сердарских детей, в толпе служанок, исполняющих роль „народа“ для честолюбивых затворниц, то аплодирующих гаремным речам на тему о „прогрессе и просвещении“, то через минуту ожесточенно дерущихся за уцелевшие после обеда сладкие блюда,—в этой атмосфере маленькие солдатики представляют мужскую половину рода человеческого и с достоинством несут свои депутатские обязанности. Они козыряют и шаркают ножкой голубым шальварам ее величества и, придерживая игрушечный палаш игрушечной рукой, с миной мужского превосходства пробираются через женскую толпу поближе к засахаренным фруктам.

С летами дверь эндеруна так же плотно захлопывается для этих пажей, как и для всякого мужчины, не связанного с эмирской семьей тесными узами крови. Но в казарму и на плацпарад они уносят с собой детские воспоминания о том, как в сумерки сияют драгоценные камни, как женщины умеют подыматься по длинным белым лестницам, и как они кричат на качелях. Эта память о близости к гарему, идеализированная, как все детские воспоминания, постепенно превращается в фанатическую преданность династии и эмиру. Патриархальная простота, с которой при этих мальчиках открывается вся интимная сторона семьи, должна производить особенно сильное впечатление в такой стране, как Афганистан, где личная жизнь каждого огорожена высокой глухой стеной и черными чехлами, где нет женской дружбы, где самое их лицо прячется, как нечто непристойное. В фанатичной стране память о детских днях, прожитых среди цариц, остается на всю жизнь, вспоминается взрослыми, как немыслимый сон, как самое счастливое и радостное в жизни.

Конечно, при таких условиях между солдатами, нанятыми на службу богатыми новобранцами, и квалифицированным офицерством, в детстве причастившимся близости ко двору, его интриг, его красоты и сытости,—между офицером-камерпажем и солдатом из босяков—очень мало общего.

Армия воспитывается в жесточайшем религиозном фанатизме. За нарушение поста, за глоток воды и корку хлеба, проглоченную солдатом после томительного учения под тропическим солнцем, его подвергают позорному публичному наказанию. Виновный должен проехать через весь город верхом на осле, спиной к хвосту, при чем народ и конвоиры подвергают его побоям, плюют

в лицо, поносят самыми отборными ругательствами. Во время 30-дневного поста солдаты и вообще трудовое население пьяно от голода, жажды и жары.

Под ревнивым взором мулл, принужденные работать, как всегда, от зари до зари, голодные толпы аскеров, фабричных рабочих и ремесленников доходят до полного истощения, до нервной горячки, до злобного воодушевления. Конечно, гвардейское офицерство (махи) только внешним образом разделяет всенародный пост. На время байрама высшие чиновники, двор и вообще люди богатые удаляются в свои загородные дома, где ничей ревнивый взор, конечно, не проследит их маленькие вольности. Аристократия, к которой прежде всего принадлежит верхушка армии, уже тронута легким скептицизмом эмира, разделяет его ожесточенную борьбу с имамами за светскую власть.

Просвещенный абсолютизм, приступив в Афганистане к своим первым реформам, не мог не столкнуться с поповской реакцией, и на оппозицию седобородых законников и клерикалов ответил легким ядом неверия, скептической усмешкой, самодержавным вольтерьянством, прикрытым, впрочем, маской внешнего соблюдения обрядов.

. Но эта лицемерная набожность, потихоньку закусывающая у себя дома, и через щелку наблюдающая добросовестное изнурение базарной бедноты и казармы, в конечном итоге еще увеличивает пропасть между кастой командиров и солдатским сырьем.

В лице офицерства, прошедшего школу „мактаб-и-харбие“, спесь галунов и шпор соединяется со спесью первобытной интеллигенции.

В военном училище, кроме верховой езды, стрельбы и маршировки, проходится еще география, история, химия, иностранные языки. Все это конечно, с точки зрения панисламизма и шариата, по нелепым учебникам или изустному преданию, которое заставило бы покраснеть ученого араба XVI столетия,—но все-таки проходится. И хотя во главе училища стоит придворный шут, потеха всех публичных сборищ, жестокий скоморох с пьяной, красной и опухшей мордой,—он свое дело знает и палкой вколачивает в головы своих питомцев грамоту, оскопленные, усеченные, вывернутые наизнанку науки, а также всякие заграничные хитрости с дробями, селитрой и патриотическим красноречием. Из стен „мактаб-и-харбие“ молодые люди выходят, таким образом, не только с затянутой талией, железными ногами и резиновым

позвоночником, но и с великолепной гордостью Робинзонов, разбавленных миллионами неискушенных Пятниц.

Таковы верхушка армии и ее низы. Между этими полюсами лежит весьма многочисленный слой рядового, служилого офицерства, всеми корнями вросшего в солдатскую массу, живущего с ней одной жизнью и одними интересами. Все их сближает: и общая скудость потребностей, и общее невежество, так как оба, и командир, и подчиненный, зачерпывают воду рукой из ближайшего арыка, едят руками свой постный плов, чистосердечно молятся на заходящее солнце, бесконечно пресмыкаются перед высшими. У обоих один идеал — как-нибудь выбиться наверх, завести хорошую лошадь, палатку, цветной халат, купить жену и вечером, развалясь на веревочной кровати, снисходительно болтать с кучкой слуг и подчиненных, скинувших туфли на краю ковра и сидящих кругом на корточках с униженными улыбками.

О, мечта! Один несет пару яблок, другой — кальян, сделанный из содовой бутылки, третий — метелку для отгоняния мух. И на закате им играет полковой рожок томительную, немного гортанную, длинную-длинную зорю.

Таким образом, рядовое, служилое офицерство ничем не возвышается над уровнем армейского большинства. И офицер, и рядовой получают нищенский оклад, целый год, зиму и лето, носят один и тот же потрепанный мундир, одевая его только в караул и тотчас скидывая в казарме, где остаются в одном белье, кишат одними и теми же насекомыми, спят на полу на вшивой овчине, ходят по снегу босиком, бьют других и сами получают по зубам.

Это — офицер из бывших рядовых, фельдфебель, произведенный в старший чин после какого-то фантастического испытания. Между этим офицером и камерпажем, скачущим в свите эмира, такая же разница, как между арабской лошадью и смиренным осликом, до гроба таскающим на себе то пышный роброн из клевера, то дрова, то мучные мешки. Фигура этого офицера, неловко зажавшего под мышкой палаш, застегнутого на все пуговицы чистого и сильно поношенного мундира, украдкой почесывающего жесткие волосы под парадным колпаком, как-то знакома.

Несомненно, это — герой будущей афганской литературы, сантиментального Диккенса в чалме, буржуазной оппозиции и национальных войн. Пока, ничего не подозревая о таком блестящем будущем, он сидит на полу, и деревенский брадобрей, без мыла,

растерев руками его жесткие худые щеки и колючий затылок, скоблит их огромною бритвой.

Около плацпарада — военный госпиталь.

К жару потрескавшейся земли он прибавляет запах карболки и формалина. Посредине квадратного двора грядки цветов, поливаемых медицинскими отбросами и мочой, что, впрочем, не мешает им цвести и благоухать, как бабочкам, приросшим к земле.

Кругом, вдоль четырех стен—четыре больничных корпуса: палаты, медицинская школа, бани и аптека. Один из врачей встречает нас в парадном головном уборе с кисточкой и в больничном халате. Взаимно осведомившись о здоровье, мы переходим к осмотру. Прежде всего операционная. Куб для кипячения воды, деревянный стол, покрытый клеенкой, несколько ведер,—вот и вся обстановка хирургического отделения.

В соседней инструментальной, довольно богатой наборами ножей, ножичков, пил и т. п., пожилой служитель полой своего халата срочно перетирает пыльные инструменты.

Теперь самые палаты. Надо признать, что в них господствует абсолютная физическая чистота. Земляной пол чисто выметен, от ночных столиков ничем предосудительным не пахнет, белье свежее. На хирургических больных чистые перевязки. В палате маляриков и тифозных, лежащих вперемежку, все тот же внешний порядок. Чистый пол, чистые горшки. Больные, с их блестящими от жара губами, с лимонно-розовым цветом лица лежат, как в строю.

Останавливаюсь возле пожилого солдата, истощенного и вымотанного многонедельным жаром.

Чем этот человек болен?"

Доктор с гордостью выступает вперед: „Или тифом, или малярией".

„Как же вы его лечите?"

„Одновременно от обеих болезней. От тифа—и, на всякий случай, даем хину от малярии.

„Это средство,—говорит врач,—я сам изобрел, и применяю его с большим успехом".

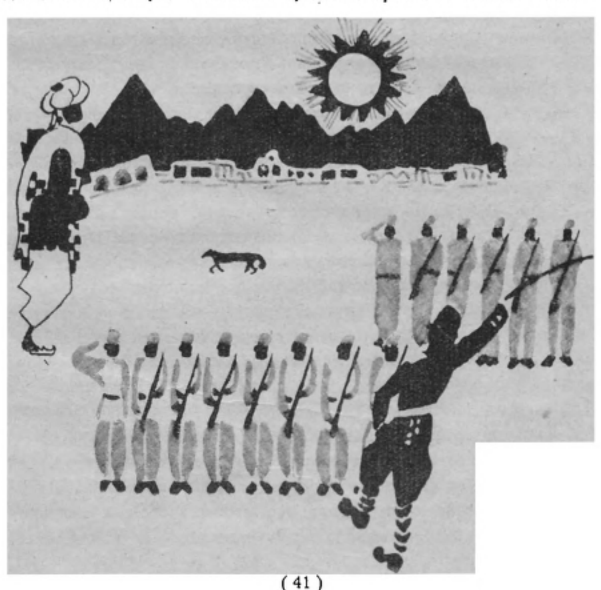
Результаты налицо. Тиф, возвратный тиф и тропическая лихорадка мирно лежат рядом, передаваясь от одного к другому. При таких условиях доктор прав, подозревая в каждом тифозном непременный возврат, в каждом малярике, в бреду положившем худые ноги на подушку и свесившем безумную голову под кровать,—будущего тифозного.

Так лечит профессиональный врач, но что будет с больными, когда они попадут в руки местных медиков, пока еще сидящих на школьной скамье, но надеющихся через год начать самостоятельную практику? Их человек 15, юношей, навербованных из учеников военной школы. Сидя вокруг своего медицинского фельдфебеля, уже получившего нашивки за хорошие успехи, они нараспев хором повторяют изречения из рукописного учебника.

Вот перевод этого урока: „Туберкулез. Эта болезнь заразительна, микробы ее передаются по воздуху и по воде"...

Туберкулез, микробы! Очевидно, несмотря на юный возраст, молодые люди обладают серьезными познаниями. Прошу переводчика задать классу следующий вопрос: „Отчего во время холеры нельзя пить сырую воду?" Замешательство, никто не может ответить. Зато на мой поклон юная медицинская гвардия отвечает лихим военным салютом.

Дальше опять все хорошо. Опрятная кухня, аккуратные кладовые, просторная строящаяся баня. Нигде ни соринки, ни пылинки. Дисциплина, жара, отчаянные бредовые крики. И солнце печет.



Хина, карболка и мази из бараньего жира.

Было бы смешно подходить к первой афганской больнице с европейским масштабом. Важно самое ее существование, самый факт появления градусника под мышкой афганца, высохшего и черного, как те ужасные бродячие собаки, которыми кишат все базары Востока,—они настолько ленивы и измучены, что ни окрик всадников, ни автомобильный гудок не может их поднять с середины дороги, где они спят в теплой, усыпляющей пыли, постоянно оглашая воздух всхлипывающим воем. Реомюр под мышкой такого афганца — пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летосчисление.

Кроме того, больница в жизни беднейшего населения — первая оседлость, первая долгая остановка в пути.

Ведь, всю жизнь афганец кочует, еще ребенком с подведенными сурьмою глазами, на ослице, которая несет его мать. Если он уроженец племен, то ежегодно, через горные перевалы Гиндукуша, от границ Индии к альпийским лугам Хазареи, от английского колониального шлема, от стройных телеграфных столбов Ост-Индской компании, как ряд черных берез, взобравшихся на самые крутые вершины,—к глиняной крепостце афганского наместника, его серебряной плетке, чеканенной в Газни, к медным грошам гератского базара, где щепотку риса и хлебную лепешку еще продают за динарий Александра Македонского.

Если он крестьянин, то по бледным от жара дорогам он всю жизнь ведет продавать пару баранов, лениво потряхивающих курдюками и оставляющих за собой острый запах навоза и мускуса. Он вечно едет в город со своим хлебом к мелочному скупщику, у которого мука пополам с пылью, но новый, специ-

вый, как его чалма, из грязи и воды слепленный домик рядом с постоялым двором, где вечно ржут лошади, где прохожие пьют и моются из грязного арыка, и где набожные люди на виду у всех молятся, застыв в честных поклонах и провожая нетерпимыми глазами всякого прохожего, его осла, его козу и его полосатый плащ.

Если больной, который теперь лежит с выражением безграничного покоя, как дорога, изрытая черными сухими колеями, по которой вдруг перестали ездить, и она блаженно зарастает травой и тишиной,—если он был солдатом, то это тоже значит вечное скитание, пот, солнце и пыль в глаза. И все эти без определенной цели всегда идущие, всегда выветренные и выгоревшие на солнце, лица которых напоминают корабельные вещи,—так с них воздух и свет смели все лишнее, все теневое.

А, ведь, итти так далеко до 60 — 70-ти лет, мимо стольких костей, белеющих на песке. Только на Востоке старость суха и подвижна, как пыль. Только на этих дорогах без конца и начала встречаются белые, сухие старухи с открытым лицом, с загнутыми туфлями под мышкой, которые они несут, точно пару серебристых египетских голубей на продажу. Над этими бабушками, бегущими вперед мелкими, едва приметными, ровными шажками, как часовая стрелка от секунды к секунде, тяготеет один страх: остановиться. Остановка — это конец. Это острый, серый камень в серебристой мяте, мягко переливающейся, как пыль больших дорог в лунные ночи. Да, да, и вдруг больница. Постель, хлеб, рябой мальчишка, который даром выносит горшки и еще вытирает тарелки, клизмы и ночные столики концом своей просаленной, но все еще блистательно свисающей чалмы.

Таков первый покой, первый досуг, -правда, расписанный тифозными и сифилитическими пятнами, но все-таки его святая тишина превыше бредовых криков, больничной вони и грязи.

Восточная жизнь всегда в плоскости: вдоль высокой глиняной стены, жаркой, как печь, и сверху, вдоль полуразрушенного карниза, как старый плащ—неистлевающей бахромой, обшитого куском густого, бархатного, низкого неба. Вдоль этой неизменяемой бесконечной стены все и движется, и живет. Но больница — это разрез поперек, в глубину, до костей. Визг перееханной собаки тоже в плоскости: он начинается от копыта, от пинка ноги и кончается там, где пешеход дойдет до лавки с виноградом, а собака свалится в канаву зализывать лапу,—все это вдоль, все

в одном измерении. Но ампутированная нога, но капли, которые каждый день щиплют изъеденные трахомой веки, но обезображенное лицо под таинственной чадрой, вылезающее из складок „Тысячи и одной ночи“ с дьявольской насмешкой,—это уже протяженно, это концы и начала, сведенные вместе, это та же стена, но в которой сифилис и пендинка проели неизлечимую дыру, и вот в нее видно и дом, и крохотный, со всех сторон запертый сад, средневековье, невежество и преступления.

Во главе общественной больницы стоит турецкий врач Нуренбек. 20 лет назад он учился в Париже, потом каким-то образом попал в Кабул и сделался любимцем старого эмира. Основал первую больницу, устроил рассадник оспенной вакцины и, перезабыв давно и упростив до крайности свои парижские приемы, с любовью и энергией резал, прививал, излечивал или отправлял на тот свет. Во всяком случае, одними прививками спасал ежегодно тысячи человек. В награду Хабибулла-хан подарил ему маленькую невольницу, на которой доктор, чтя Бурже и добродетель, счел долгом жениться. И сейчас на всех женских аудиенциях обязательно появляется его ханум, сморщенная, как высохший лягушонок, с кирпичным румянцем поверх тяжелых, серых рытвин, пересекающих ее раскрашенное лицо, как оросительные канавы высохший пустырь. Ее сухие лапки с нечистыми ногтями, всегда подогнутые, как у удивленной птицы, прячутся в ярко-розовые шелка.

Трудно сказать, как они ладили и жили вместе, но из тех же розовых складок высовываются головки трех детей доктора, худеньких, подвижных, с затененными глазами испорченных гамэнов, с приседаниями, улыбками и кружевцами на панталончиках,— это уже от вольноотпущенницы, от правоверной рабы.

У доктора много книг,—он читает и любит Шекспира и 15 лет не говорил ни с одним европейцем.

И, может-быть, оттого, что над его благонамеренной головой мелкого буржуа (в черной ермолке, какие в Париже носят портье и профессора) полжизни дребезжала скрипучая погремушка нелепейшей из всех комедий, лицо доктора Нуренбека усвоило странную гримасу. Вместо смеха он ни с того, ни с сего прищуривает один глаз, растягивает рот до ушей, и его рантьерский животик в широком вырезном жилете бесшумно подпрыгивает и трясется.

Но дело в том, что выпученный глаз при этом смотрит без всякого веселья, испуганно и удивленно. И тогда кажется, что уравновешенный, в полном смысле слова порядочный Нуренбек издевается над собой и над циничным фарсом, который получился из его жизни.

Он любит оперировать. Любит пройти в операционную через три тесных и вонючих палаты, при чем его ассистент, старый афганский знахарь, с трудом променявший приворотные травы, порошки из собачьего семени и заклинания на олеум рицини и карболку, шествует за ним и с видом колдуна на всякий случай бормочет над приготовленными инструментами испытанные заговоры. В такие минуты старику кажется, что он знаменитый профессор, перед которым открывается ряд белоснежных палат, и что, в конце-концов, из рога изобилия, некогда вытряхнувшего в его объятия скудоумную ханум, выскользнет и орден Почетного Легиона. И, мечтая о Saint Lazare, он браво режет грязные, худые и голодные тела, не замечает слабости собственной руки, проколотых сосудов и пузырей и грязного передника, о который его ассистент вытирает ножи. Может-быть, без этой неунывающей бодрости, без иллюзий, помогающей превратить скверный барак в образцовую клинику, милейший Нуренбек не мог бы работать в ужасных условиях, в которых он мужественно провел 20 лет, не мог бы сделать большое и нужное дело. У него нет ни инструментов, ни перевязочных средств. Усевшись на глиняный пол и размотав перед врачом какой-нибудь гнойник, гангренозное пятно или рожу, больной затем спокойно подбирает с полу свои лохмотья и старательно ими перевязывается.

А все тяжело, почти безнадежно больные, которых больница вообще не принимает, стараясь избежать лишнего процента смертности, подрывающего ее авторитет в глазах духовенства и всякого рода ханжей.

Что делать доктору с 10-летним ребенком, которого отец, молодой еще солдат, принес на руках? Кости и кожа, опухший и размягченный череп, сведенный на сторону. Блуждающий, как у всех смертельно больных, мудрый и невнимательный взгляд — и жизнь, все еще жизнь в омертвелой коже, в костях, торчащих из-под нее, в крике. Какая тут надежда! Врач отворачивается к другому, и отец, посидев совершенно одиноко на скамейке, медленно заворачивает полумертвое дитя, еще медленнее встает, еще медленнее уходит. Ах, чорт! эти ужасные паузы, это стояние

на месте, эта повернутая уже и все еще ждущая, спрашивающая спина.

Вот женщина, которая сейчас пойдет на операцию. Приблизительно месяц назад ей удалили катаракт, после 20-летней слепоты она начала видеть. Оставалось что-то исправить в ее неправильно поставленных веках,—пластика, как говорят врачи.

Знахарь решил, что он справится с этой пустяковой задачей не хуже проклятого кафира. Ковырнул в глазу кухонным ножом,— больная ослепла уже навсегда.

— Ну, да, — говорит Нуренбек со своей гримасой. — Ces imbéciles...

Сколько поэтов пело восточную чадру! Сколько с ней связано неопределенных мечтаний. Под ее мрачными складками чудится непременно красавица, изящество которой выдает узкая пятка, мелькающая из-под покрывала. Что же, в больнице таинственная черная занавеска подымается.

Вот пришли три „ханум". Маленькая и сгорбленная, пошлепав вокруг доктора туфлями без задков, подымает чадру дрожащими руками. В черном окладе откинутого покрывала — чистенькая старушка, сухая, как пыль, и от белых широких рукавов ее рубашки пахнет чем-то полевым, как от мятных зарослей на старинных кладбищах. У нее болят глаза: вокруг синих немного мутных зрачков—красная густая полоса, благодаря которой все лицо похоже на чистый сухой лист, изъеденный гусеницами. Ее старшая дочь, тоже больная, долго не хочет открыть лица. В таких случаях уговоры бесполезны. Чем больше просить, тем упорнее будет сопротивление. Доктор открывает входную дверь перед другими пациентами. Старушка и ее занавешенные дочки приходят в волнение. Мать дергает врача за рукав, и молодые женщины, отвернувшись, втянув голову в плечи, выползают из своих коконов. На белом, одутловатом лице старшей — красные очки трахомы. Ее смуглая красивая спина изъедена экземой. Осматривать ее одно мучение. Пациентка, для которой врач ни на минуту не перестает быть кафиром и мужчиной, считает своим долгом разыграть перед ним все условное действо стыда, сопротивления, всех этих бедных жестов с закрыванием лица, криками и нервным смехом. Без этого она не может, в этом вся женская порядочность, престиж и ценность. Иначе какой же смысл в чадре, в вечном скрывании своего тела,—преступного, запрещенного, отвергнутого законом.

Очень немногие открывают свое лицо, смеясь, легким и порывистым движением, которое их сразу роднит со всем, что молодо, красиво и не боится смотреть прямо в глаза.

В общем, при всех строгих предосторожностях, глухих стенах и оградах, при наличии чадры и сверхъестественного лицемерия и жестокости большинство женщин страдает венерическими болезнями. Мужья ли их заражают, возвратившись из Индии со своими караванами, или они ухитряются грешить, будучи затиснуты между двух страниц корана, — Аллах их ведает, а покачто черноглазая, ласковая и веселая женщина, у которой так влажно и свежо блестят зубы, смеется на все вопросы и, в конце-концов, обходит любопытство доктора, лукаво и притворно-добродетельно открывая ему для укола не свою стройную и чистую спину, а узкую полосу, заранее прорезанную в широчайшей одежде.

Странно, но приличная палата которой-нибудь из наших общественных больниц производит гораздо более унылое, даже отчаянное впечатление. Пять этажей, запах капусты и болезней, скуластая сиделка, грязный халат и грязная ванна, липкий и пахнущий потом градусник.

В чем же суть? Неужели из-за грядки цветов перед Таб-ханой, из-за жаркого неба, из-за экзотики с ней легче примириться, чем с клоакой Обуховской и Калинкинской?

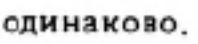
Во-первых, больные, ожидая очереди, не сидят в приемной, не перелистывают альбомы и не читают растрепанной, инфекционной Карениной, а лежат или сидят на жаркой, сухой земле. По дороге в операционную они еще раз оглядываются и вносят с собой широкие линии гор и еще более избыточные, клубящиеся, ко всему безразличные очертания облаков, ползущих в долину через голые горные края грозовой пеной.

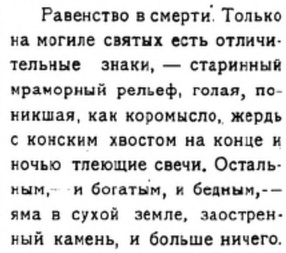
Терпение? Нет. Покорность судьбе? Да нет же! Земля, даль, ширь, дороги как ручьи, неодушевленное эмалевое небо. Что тут значит чья-то лихорадка, переломанные кости, больной ребенок? И перед стихиями есть некоторое равенство всех. Не социальное, конечно. Один ест плов каждый день, на его бороде масло, и конюх бежит рядом с его лошадью, в то время как другой продает невкусные маленькие арбузы, или ночью, положив голову на сухую листву, караулит чужую кукурузу, которая блестит в неясном свете звезд, как золотое сито. Все это есть — и трещины, и пропасти. Но тем не менее: И богатые дома, и бедные лепятся

из одинаковой грязи вдоль не знающих тени дорог. И богатые, и бедные носят чадру. Их красота, их грудь, вышитая серебром по оливковому бархату, их спесь,— все бесполезно. Никто не увидит.

И спят все на полу,—в одном тюфяке больше, в другом меньше блох. И только.

Едят руками. Переехав границу, молодые купцы прежде всего, скинув лаковые туфли, моют в ручье стесненные ноги, и потом требуют плов, чтобы его подпихнуть в рот большим пальцем, а руки вытереть о фалды habit noir. В холеру все стукают лбами о земляной пол по 20 раз в сутки. И мертвых хоронят всех одинаково.





Равенство в смерти. Только на могиле святых есть отличительные знаки, — старинный мраморный рельеф, голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным,— и богатым, и бедным,— яма в сухой земле, заостренный камень, и больше ничего.

Быстро-быстро, точно боясь опоздать, бежит толпа родственников за носилками, на которых лежит тело, завернутое в простыню. Торопливый, короткий и простой обряд, а за ним забвение.

Вдоль дорог, среди плодородных полей, на перевалах — везде острея безыменных кладбищенских камней, никто не знает,— чьих.

Нет свежих могил, все одинаково стары.

На следующий день женщины, которым не позволено присутствовать на погребениях, с трудом отыскивают свой осколок, свою кучу песка.

И, может-быть, именно потому, что в маленькой библейской стране, где еще пашут деревянным плугом, так велико общее ничтожество перед стихией, будь то горная цепь, пророк или эмирская власть,— и хождение по мукам больницы принимается с тем же ровным безразличием, как жизнь, солнце, взятки и смерть.

В стране, где так просто умирают, где бедность естественнее засухи, клубок болей и безобразий, сжатый в три больничные палаты, ничем не выделяется. Яма, в которую грязной струей стекает гной, отчаяние и беспомощность Кабула, не нарушает его пыльной гармонии. Стекла разбитых бутылок во дворе госпиталя, трупный запах, смешанный с ароматом его цветочной клумбы, одинаково радостно дышат на солнце, так же покорно и беззаботно смешиваются, как пестрота, вонь и радость жизни на любом восточном базаре.

Закрытая женщина с закрытым ребенком.

В последний день рамазана все женщины Кабула собираются в сад императора Бабура. Все, без различия возраста и общественного положения, приходят на праздник молодой луны; появлением ее лукавого, тоненького серпа кончается тридцатидневный пост. До ворот сада тысячи и тысячи женщин совершенно похожи друг на друга. На них черные покрывала, черные шаровары, черные толстые чулки, даже прорезы глаз затянуты черным кружевом. Идут по знойным дорогам, по тропинкам среди высокой зеленой ржи, через шумный и пестрый базар вереницей безликих, замаскированных привидений. А на руках — праздничные, прекрасные дети, в шапочках, усаженных бумажными бабочками, с глазами, обведенными сурьмой, с бубенчиками и бусами на руках и ногах. Мертвые несут смеющиеся цветы, мертвые от пыли прикрывают полами своих саванов лица детей.

Вокруг ликующая природа, лиловые горы в снежных шапках; душистые луга клевера, сады, из которых доносится воспламененное дыхание роз. За высокой глиняной стеной Бабура маски исчезают. Ветер подхватывает тысячи белых покрывал в блестках и бумажных цветах. По дорожкам с особенной какой-то грацией, выработанной веками, бегут, пышные шаровары, загнутые туфли. И до полу свешиваются похожие на косу черные широкие ленты, прикрепленные к затылку под прозрачной фатой. Богатые горожанки в шелку, с рыхлыми лицами и ленивыми глазами, и женщины племен в лохмотьях, похожие на переодетых королев, по трем лучам-дорожкам подымаются в гору, к легкому летнему дворцу. Там вековые чинары, широкие ручьи, падающее течение которых кажется остановившимся.

Очень молодые женщины бегут к качелям, но большинство садится прямо на землю, шумными рядами, которые понемногу успокаиваются и замолкают. И, наконец, говор становится похожим на рокот, на зуд веретена, на неподвижный полет тех золотых мух, вибрирующие крылья которых часами стоят в воздухе, точно повисшие в нем, уснувшие, застывшие на месте. Праздник сводится к созерцанию, застоявшиеся женщины, отвыкшие от движения и воздуха, быстро устают от непривычной свободы. Их тянет к ковру, к земле, к привычной позе с поджатыми ногами. Они садятся отдыхать, как птицы, отвыкшие от полета. Тела, рыхлые и белые, как пух, льются в удобные, оплывшие, мягкие движения.

В толпе этих матерей, спокойно опустившихся на землю, есть удивительные лица. Особенно вот эта полная, зрелая, красивая женщина. Свое место она нашла не спеша и, чуть задохнувшись от тех нескольких шагов, которые пришлось пройти от экипажа до тенистых чинар, опустилась на подушку. Затем, успокоившись, подняла лицо, — лицо Марии — чистое, крупное, спокойное с очень белым, гладким лбом, тонкими бровями и таким грустным, нелюбопытным, ничего не ищущим взглядом, точно эту свою жизнь, похожую на всякую другую, она прожила уже много раз. Ее начало, ее конец — вот как этот сонный водопад с остановившейся водой. И примирилась с безнадежно-ровным, предустановленным, неизменным ее течением. Монотонный крик, который не умолкает весенними ночами; убыль луны и полнолуние; первые цветы и первый снег должен ей внушать животный ужас, которого никак не поймет деловитый, немолодой, зажиточный муж. Она предугадывает черное время, которое течет к дыре и в нее вливается, как осенняя вода, и видит эту глинистую, мутную, мелководную Лету Востока так же спокойно, как дымчатые горы, тепло, восторг зрелой весны, раскинутые перед ней в солнечном сиянии на десятки-десятки несчитанных верст.

Но к какому же зрелищу готовятся толпы зрительниц? Ну, хорошо, прошли мы, и нас встретили удивительно дружественными „селямами“, испытующим и одобрительным прикосновением старческих рук, улыбками молодых, детским плачем и визгом. Особенно бедняки-женщины, пришедшие в Бабур босиком, в лохмотьях, прямо из своей нищенской жизни на голой земле.

Никто не клянчил, не протянулась ни одна рука, — просто приветствовали, показывали, что понимают, мол, кто мы, чьи

„ханум", и что между нами есть уже та не выраженная словами инстинктивная социальная симпатия, которой тщетно стараются помешать восточные школы и идеология восточного базара,—



симпатия самых глухонемых масс, какие мне когда-либо приходилось видеть. Нет, зрелище только начинается. Постепенно съезжается знать. И вскоре перед тысячами, перед этим морем крылатых покрывал, лохмотьев, лиц, набеленных белилами, и диких спутанных косм, бронзовых голов, напудренных пылью больших дорог, появляется женская половина купечества. Ярко-накрашенные парадные маски, взбитые волосы, ноги в тесных, остроносых башмаках, сочные тела, затиснутые в корсеты, и нелепые европейские тряпки сидят на стульях перед внимательным, многотысячным амфитеатром, старающимся на всю жизнь запомнить, как двигалось зеленое перо на красной шляпе, какие жемчуга лежали на парчевой груди, какой чулок обтягивал в этот святой день белую толстую ляжку какой-нибудь дамы. Между зажиточными и нищими некое недоступное для народа пространство, охраняемое мальчиками-солдатами, воспитанниками военной школы. Им даны винтовки, они играют взрослых, стараясь им во всем подражать. С азартом расшалившихся детей тыкают прикладами, куда попало, избивают крошечных детей, пинают по шеям, по животам, в грудь, куда попало. Никто не смеет остановить маленьких мужчин. Мальчики, чувствуя полную безнаказанность, орудуют с тем зверским презрением к женщине, которое им привито с молоком матери, которое пронизывает все их воспитание, всю вообще жизнь. И женщина, для которой создан этот праздник, его единственная героиня и устроительница, раз в году снимающая чадру, защищенная от гнета семьи, от мужа, брата, отца, которые почтительно ожидают за воротами со своими баги, осликами и таратайками, в этот день своего редкого торжества становится добычей привилегированных мальчишек, собственных детей, бьющих ее, по чем

попало, со всей развязностью взрослых, так-сказать, от лица отсутствующей половины семьи.

Вокруг бассейна садятся женщины, чтобы петь свои национальные песни. Среди них много кочевниц, диких, оборванных, великолепных, которые вообще раздражают чисто-вычесанных курдючных горожанок своей легкой походкой, стройностью, золотым блеском кожи, незнакомой ни с какой чадрой. Они смотрят на дикарок, как овцы, с трудом несущие жирное вымя, поддерживаемое холщевым мешочком между коротких растопыренных ног, на легких джейранов, этих горных стрекоз, с женственными глазами, которых бьют в горах из старинных двустволок. Толстые старухи смотрят на оборванных певиц со своей неизменной, жестокой улыбкой, затем незаметное движение глаз,—и банда маленьких солдат набрасывается на этот хор,—тащит и разгоняет.

Поднявшийся ветер несет на толпу тучи едкой желтой, ужасной пыли. И пока женщины, ослепшие от песчаной вьюги, стараются протереть глаза, обмыть лицо в бассейне, их сзади избивают прикладами и уводят прочь. Никто и не думает о защите, никто не возражает. В течение 4-часовой потасовки ни одного гневного жеста, ни одной попытки защитить себя или своих детей от издевательства. Эти взрослые, сильные женщины, которым ничего не стоило бы отшлепать любого из „защитников“ общественной безопасности, позволяли себя гнать, как скот, принимали, как нечто должное, все ругательства и синяки. Ни одна не посмела дать отпор 9—10-летнему мужчине. Ни одна, за исключением безумной старухи, которую с гиком и визгом сбросили с веранды на мостовую. Стоя в облаке желтой, раскаленной пыли, перепачканная, вся ржавая, как это солнце, в облаке жгучего песка, она долго кричала что-то сквозь ветер и летучий туман. И как ни старались ее заглушить, она все-таки сделала свое дело,—прокляла.



И далеко от всего этого, от пыли и плача, сияя нечеловеческой красотой, прошла через сад молодая эмирша, прекраснейшая женщина Афганистана.

———

Про науку, англичан и канат.

Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы,— все злит Амманулу.

Его лоб горит,—сбросив каракулевую шапочку, эмир надевает соломенную шляпу местного производства. Обмахивает залитое краской лицо конским хвостом, вделанным в деревянную ручку.

У придворных кислые лица. Властелин, с которым вообще шутки плохи, содрал с них новенькие европейские костюмы, заставил облечь жирные, трепещущие складками животы в колючую и топорную машин-хане,—ткань, вырабатываемую первой и пока единственной кабульской фабрикой. На последней охоте, развеселясь, со своей ярко-красной усмешкой взял и вырезал ножницами из кокетливых английских костюмов придворных огромные лохмотья. Министр просвещения уехал домой, прикрывая носовым платком голое колено. Были и другие прорехи, менее пристойные.

Все это очень напоминает московских бояр, возвращавшихся с царевой пирушки в старинные свои домы, кто с урезанной бородой, кто без пол на кафтане. В конце-концов, ножницы укрепили любовь двора ко всему национальному,— сорокапудовых франтов не узнать сегодня в спартанском одеянии цвета песка, верблюжьей шерсти и помета.

Покончивши с френчами и галифе, властелин принялся за старинное невежество своей страны. У эмира Амманулы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий тому назад он был бы халифом, мог бы разбить кресто-

носцев в Палестине, торговать с папами и Венецией, сжечь множество городов, построив на развалинах новые, с такими же мечетями и дворцами, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады, Царьграда или одной из венецианских митрополий. Но в наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Амманула становится реформатором и обратился к преобразованию и мирному прогрессу. Само собой понятно, что мир этот нужен властелину только как передышка, чтобы подготовить Афганистан к грядущей войне с добрыми соседями... Цивилизация и прогресс используются им, как орудие, которое должно быть обращено именно против этой враждебной европейской культуры и цивилизации. С деревянными стрелами, луками и мечами не повоюешь против Винчестеров и Круппов. Для этого нужно привить восточной стране не только известные технические навыки, но и грамотность, способность хотя бы механического подражания и некоторой ориентировки.

В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки.

Слон несет бревна, потому что его колют за ухом острием анка; солдат глотает пыль, обливается потом в своем верблюжьем мундире, съеживается, как сморчок, под лучами беспощадного солнца, а зимой пухнет от холода и голода, подгоняемый хлыстом и кулаком; палка устраивает в одну ночь сады на голом и мертвом поле, убирает для праздника флагами, коврами и фонариками какую-угодно нищету... При помощи этой же палки Амманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением, нечто в роде маленькой Японии,— железный милитаристический каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной, хищной душой. К сожалению, эмир, при всем врожденном уме, при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных, вялых династий Востока, сам не получил правильного образования, не имеет полного представления о европейских методах воспитания, о средствах и людях, пригодных для школ вообще.

Во главе военного училища стоит турецкий офицер, ныне генерал, известный в Кабуле своими выходками, увеселяющими придворных, и животною жестокостью в обращении с учениками, отданными в его власть. Во время последнего праздника весны

он развлекался тем, что направлял к своим красным генеральским лампасам всю дождевую воду, сбегавшую с верха палатки на мокрые ковры. Генерал сидел посреди лужи, багровый, похожий на пьяного Фальстафа, и заглушал оркестр своим ржанием и непристойностью. Женитьба этого придворного шута произвела огромный скандал даже в Кабуле. Но с подчиненными паша мгновенно изменяется. На головах учеников его разнузданный кулак выстукивает все свои унижения и обиды. Горе воспитаннику, упавшему с лошади во время барьерной скачки, сорвавшемуся с трапеции, оступившемуся на параде.

Итак, в 24 часа приказано устроить просвещение, обучить наукам сотню подростков, всеми корнями вросших в жирный слой купечества и знати. Мальчиков взяли, засадили, били, били и били.

Так поступал в свое время и Петр, но тот, кроме учеников, умел находить и учителей. Его арапа учили профессора Сен-Сира; молодые дворяне, весьма скупо снабженные деньгами, принуждены были пешком странствовать по Европе от одной знаменитой кафедры к другой. Корабельные же мастера, боцманы и сведущие в математиках приказчики голландских купцов не раз бивали по шее сыновей Шереметевых и Баратынских. Учили насильственно, раздвинув судорожно стиснутые скулы бояр, где рукоятью кнута, а где и топором, но учили.

К сожалению, отсутствие европейского образования помешало эмиру найти учителей для своей страны. Старые дворцовые дядьки, въедчивые вредные муллы, мелкие чиновники министерства иностранных дел, особенно шустрые по части внешних заимствований, взялись уместить в черепа маленьких афганцев всю европейскую премудрость. И, наконец, наступил день испытания.

Ничего нет легче и радостнее кабульской весны,—наступающей медленно, длящейся бесконечно, такой долгой и томной, от слабой дымки на горах и до торжествующих медовых мятелей, когда цветут фруктовые деревья. Экзамен устроили в одном из садов, под навесом палатки, край которой то обжигало солнце, то мочило счастливой майской грозой. После нескольких ударов грома, после минутной влажной темноты день становится еще более блистательным, пропитанный запахом земли, оживленный трепетом вишен, дрожащих перистыми белыми ветками от прикосновения пчел, чистотой неба, не запачканного фабричным чадом.

Съехался двор в своих домотканых костюмах. Англичане вошли и сели в небрежнейших позах. Обменялись поклонами, ненавистями и любезностями. Один из придворных вздулся в кресле фиолетово-синей горой жира и нездоровой крови. Испуганные, с черными конскими хвостами на шапках, промаршировали музыканты. Замолчали,— стало опять слышно пчел, которым со всех сторон мӑшут яблони белыми рукавами.



Среди тишины, — „раз два, раз два": один шагает к палатке и дергается церемониальным маршем мальчик лет четырнадцати, в тесном, жарком мундире. Рука к козырьку, ноги, как палки, внутри налит крахмал, от благоговейного ужаса не может начать. Учитель одергивает его в последнюю минуту: надо стоять не на траве, а на самом краю ковра, разостланного перед зрителями. Затем длинная заученная речь (около часу) о просвещении, о недосягаемом величии ислама, о невинной мусульманской крови, ожидающей возмездия. Все это громким голосом, однообразно, без смысла и выражения, без передышки, без возможности обернуться на свои скачущие мимо слова. Патриотический крик, выученный наизусть.

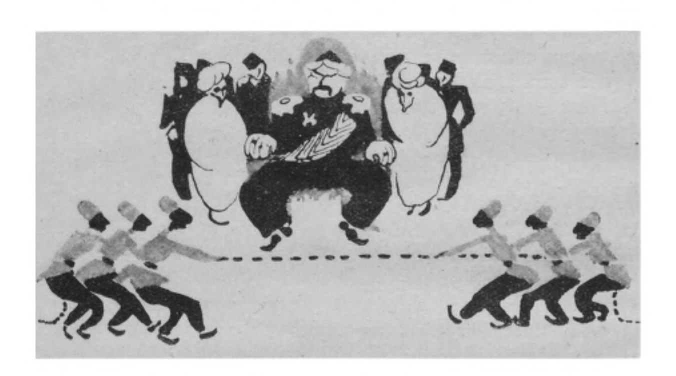
Меняются ученики, меняется содержание их спичей. Но крик неизменно торжествует. Лица мальчиков сливаются в один рот, судорожно разинутый, испускающий пронзительные и высокопарные хвальбы. Двор рукоплещет. Эмир радуется, как ребенок, замечательным успехам молодежи. Между тем, авторы произносимых учениками приветствий шмыгают в задних рядах, подобрав длинные полы, смакуя свой косвенный успех в кругу старших конюхов, чайдара и особо почтенных соглядатаев. Английский посол прячет двусмысленную улыбку за листком программы и не без искреннего чувства аплодирует этому знанию, еще на пятьдесят лет гарантирующему полную безопасность британской Индии.

Торжество прерывается короткой молитвой на лугу. Толпа спускается равномерными поклонами—один, как все. Молятся за-

ходящему солнцу, цветущим садам, влажной траве, пока звонок не возвещает испытание по химии.

Два смышленых подростка показывают химические опыты; зрители следят за их таинственными манипуляциями с затаенным страхом и любопытством.

Пробирки с красными, белыми, зелеными жидкостями. Мальчик потрясает ими над седобородыми головами мулл, перед



круглыми, выпуклыми, влажными глазами придворных. „Да поможет мне господь! Соединяю две бесцветные жидкости, и — получается красное". Сенсация. В благоговейной тишине хихикают молодые атташе английского посольства, и деловито и нежно жужжат пчелы.

Вспыхивают какие-то газы, порошки превращаются в воду, вода в огонь; несколько миниатюрных взрывов довершают успех. Что, почему, и зачем — неизвестно. Да никто и не интересуется причинами. Эмир доволен: он страстно любит треск, огонь и осколки. Стороной посматривает на англичан: вот, дескать, эти дети узнали все ваши секреты и чудеса; дайте срок, они и вас взорвут на воздух.

За ученой алхимией—хоровое пение. За пением — наизусть выученная, заранее решенная задача. Крохотные мальчики, лет 5—6-ти, выступающие привильным военным шагом, декламируют на совесть длинные, сладкие мадригалы. И напоследок — канат. Его величество не может без игры и азарта.

Праздник ему не в праздник, если закладка мечети обойдется без конского скаканья, или ученое торжество—без игры в канат.

Эмир — большой человек, настоящий герой азиатского возрождения.

И, как некогда флорентинцам и римлянам, милы ему в равной степени алхимия и ристалища. Ученики всех разрядов, без различия премудрости и отметок, делятся на две равные партии и тянут в противоположные стороны концы толстой веревки.

Двор и дипломатический корпус держат пари на молодых Менделеевых и будущих Реклю, а весеннее солнце благодатно смеется со своей голубой башни.

Наука в гареме.

I.

Если прищурить глаза или смотреть через занавес солнечного света, может показаться, что это выпускной акт института,— так этот зал с колоннами, ряды нарядных девочек, эстрада с важными начальствующими дамами похожи на старый Смольный.

Институток наших возили в старомодных каретах, а этот маленький женский народец приехал на экзамен в громыхающем деревянном ящике с опущенными занавесками, запряженном парой флегматических серебристых волов. Просвещение вообще шагает медленно, но вряд ли есть у него упряжка тише этих волооких, добрых и невозмутимых животных.

Наших институток охраняли почти бесполые классные дамы,— здесь среди свежих детских лиц мелькают безволосые, желтые и опухшие маски кастратов. Есть какая-то наглая животная развязность в их движениях: придворные лакеи и полулюди, они без церемонии копошатся в шелесте женских юбок, сплетничают и соглядатайствуют, толкают локтями более бедных учениц, через их головы подают чай или упавший платок своим госпожам,—словом, вносят в учебную комнату весь душок спальни, всю двусмысленность своего привилегированного положения.

Зал разделен эстрадой на две половины. Внизу рядами ученицы в пестрых форменных платьях, кончающие сегодня полный курс своего образования (один год), девушки-невесты в шелковых желтых платьях, с легкой белой фатой на растрепанных черных волосах. У них тяжелые, преждевременно созревшие груди, горячие глаза восточных женщин и лицемерная чопорность богатейших невест базара, жестокая детская спесь и в то же время длинные шершавые руки, пальцы в чернильных пятнах, застенчи-

вая походка школьниц. Возле девушек „мунши" (учительница) в европейской громадной шляпе и, как мне кажется издали, с орденом Красного Знамени на пышной груди. Кончающих всего пятнадцать, все остальные гораздо моложе — от шести до восьми лет. Эти прелестны. Совсем маленькие, они не умеют еще ханжески опускать глаза, не рассматривают с нездоровым любопытством трех желторожих дядей, каким-то чудом попавших на женскую половину, не поджимают губы и не складывают ладони блюдечком при виде корана.

В толпе детей, тяжело переступая ногами слоновой толщины, прогуливаются старухи-мамки. Это пожилые вольноотпущенницы, у которых на желтом морщинистом лбу, под складками прозрачной ткани еще видно голубоватую звездочку,—знак их рабства, упраздненного всего три года тому назад,— память далекой родины — Индии, Аравии или Турции. Для этих старух, сохранивших свой старинный костюм,—на плечах дивной яркости кашемировую шаль, на голове белоснежную фату и такие же шаровары, обшитые внизу гремушками,— этот первый в Афганистане праздник женского просвещения — нечто непостижимое и незабываемое.

С трясущимися головами, с глазами, которые туманит дряхлость и волнение, они пробираются вперед, слушают, смутно чувствуя, что с этим днем их старая жизнь окончена. Они утирают слезы и сквозь слезы улыбаются не то чуждому будущему, не то кивают смерти, которая стоит и ждет за плечами этих девочек. Толстые и добродушные слонихи умиленно дремлют, когда солнцу сквозь вечно-юные узоры индийской одежды удается прогреть горы их ленивого жира,— спины и груди, раздутые до чудовищных пределов, лоснящиеся под бледно-розовым, сиреневым и лимонным шелком. Но есть и другие: сухие и подвижные, до сих пор сохранившие следы когда-то небывалой красоты. Их брови выгнуты, как агатовые арки на высохшем лбу, их глаза лежат в глубине сухих впадин, как черные ночные драгоценности. Это те, которые умели в жизни только любить и создали целую науку любви, целый культ нежных ухищрений: они подбирали оттенки страстей, как пестрые шелка на праздничном ковре. Они состарились, но их лица сохранили какую-то мудрую грацию, — улыбку жриц, служивших мучительному, но прекрасному богу прихоти. И вдруг вместо того, чтобы учить девушек тайнам взгляда и улыбки, искусству пляски, сопровождаемой двумя серебряными гремушками, двумя поющими у пояса серебряными

голубями, их учат решать задачи с ценой на ячмень, „сабзу“ и рис. Старые куртизанки неприязненно позванивают запястьями, шелестят своими шелками, как опавшими осенними листьями, и думают о том, что из этих воспитанниц не выйдет ни одной царицы улья, способной жалить и любить, расточать смерть и счастье, похожие на старинные песни.

С нашей точки зрения то, чему научили этих девочек, неверно и немного страшно. На карте они знают только границы старых, когда-то непобедимых мусульманских царств и, пожалуй, еще те эфемерные пределы, которые до сих пор грезятся яростным панисламистам. Девочка четырнадцати лет отвечает урок по географии. Она находит на карте всего мира крохотный Тунис, Алжир, Марокко и Бухару. Для нее это страны, подпавшие под рабское иго неверных и ожидающие нового пророка и воина, который бы вырвал их из-под европейской пяты. Черные глаза горят фанатическим огнем, а крохотная смуглая ручка грозно сжимается над двумя грешными, неправоверными полушариями. Придворные дамы, преподавательницы, старушки и даже евнухи отирают слезы. Мы, представительницы другого, презренного человечества, сидим очень тихо, сочувственно киваем маленькому фанатику в желтом шелку и втихомолку радуемся, что время великих Аббасидов и Омайядов прошло, и вечность успела перевести свою стрелку на четыре века. Мертвые не встают, песок не отдает старой крови, и мы не воюем за гроб господень.

Вот она, первая розовая заря просвещенного абсолютизма, брезжащая над Кабулом. Мелькают громкие слова: прогресс, культура, автомобиль, телефон, телеграф; кроме того, подразумевается носовой платок и зубной врач, уже прибивший на базаре свою драматическую вывеску. Затем, в перерыве между двух речей, вторая девочка решает у доски арифметическую задачу. Лицо ее серьезно освещено изнутри мыслью, ей не до этикета, не до дам, даже не до награды. Мнет в руке мелок, старательно выводит свои каракули, пугается, думает, пальцем стирает цифры, — и из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготовляет нечто, через какие-нибудь сто лет имеющее взорвать на воздух и этот зал с колоннами, и непроницаемые занавески гарема. Наконец, задача решена, и девочка, поцеловав руку эмирши и получив от нее подарок, спустилась с трибуны. Но ее место занимает сама Арифметика,

чтобы сказать несколько слов о своей глубине и пользе. Да, Арифметика, всем знакомая и памятная с детских лет. Ее чело голо и желто. Глянцовитые волосы примазаны к костистому черепу, полному вычислений. Глаза спрятаны за синие автомобильные очки. Свет играет то на одном, то на другом стеклянном зрачке, что придает этой науке сходство со смертью. Совершенная абстрактность этой фигуры усиливается ее удивительным красочным нарядом. Поверх волос, очков и желтых скул струится чадра нежнейшего сиреневого цвета, а плечи, деревянная грудь и руки с пальцами, сухими, как кусочки мела, обтянуты ярко-зеленым, искристым шелком. Дети в полной панике не сводят глаз с лица математического фантома, а старушки-наложницы, дожившие свой век в неге и пораженные таким безобразием, при столь великом красноречии снова чувствуют себя растроганными и утирают слезы. И весеннее солнце золотит яркие шелка, детские подвижные лица и Математику, ее круглые глаза-лупы,— словом, прошлое и будущее.

Совсем в другом роде директриса училища. Это — немолодая уже женщина, с правильными, даже приятными чертами лица. У нее спокойный, внимательный взгляд, привыкший видеть многое, ничему не удивляясь. Кружевное покрывало не закрывает ее умного лба и осторожной улыбки. Как только ее зоркий черный глаз замечает где-нибудь на ковре носовой платок, оброненный Шах-Задэ-Ханум, или пустую чайную чашку, сейчас же величавость сменяется величайшей торопливостью. Она спешит поймать и поцеловать на-лету руку и вложить в это прикосновение все тонкие оттенки интриги, разделяющей двор.

Дети, удостоенные награды, вызываются на трибуну по особому списку. При этом учительницы тщательно справляются о положении и имени их отцов. „Дочь сердара... дочь генерала... дочь мусташира“... Между эстрадой и залой устанавливается патриархальный тон: придворные хорошо знают дворянство, делают покровительственные или критические замечания по поводу известных семей, имен, лиц. Дети напряженно слушают то с тайным соревнованием, то с недобрым смехом, когда шутки касаются какого-нибудь неуклюжего червячка, дикой и некрасивой девочки из далеких горных кишлаков.

Наконец, программа приходит к концу. Прочитаны молитвы, показаны европейские рукоделия, в тысячу раз хуже афганских вышивок, продаваемых на базаре, тех простых и ярких орна-

ментов, которыми обшиты шаровары и широкие шелковые рукава служанок. География и арифметика унесены кастратами, и молоденькие дамы начинают зевать в корсетах, безжалостно сжимающих их пышные восточные бедра.

Черные европейские платья и шляпы двора тонут в живом потоке детей, похожих на смуглые ландыши, в белых облачках-фатах, в пестрых старинных шалях, в красном, зеленом, голубом и желтом, такой неувядающей яркости, каких не выдумать и не сделать теперь никому. И завтрак, к счастью, накрыт не на столах, а прямо на полу. По коврам разостланы полотняные скатерти, и среди блюд в одних чулках бегают служанки, в своих пестрых шароварах с бубенчиками у щиколоток. Ни стульев, ни подушек,—все садятся на корточки и едят руками, старухи рвут на части целых курят, утирают рот пальцами, на которых блестят брильянты и капли бараньего жира. Пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости. Рис осыпается из их медленно жующих полных ртов на исполинские груди, на равномерно дышащие животы. Ах, жизнь все еще хороша, когда плов заправлен шафраном, а бараньи ножки утопают в янтарном, клейком соку.

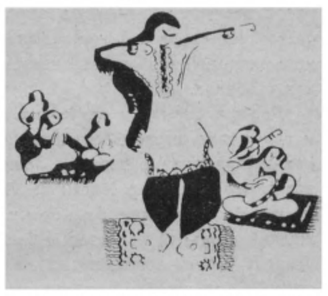
Поодаль танцовщица раскладывает свой ковер. Ей четырнадцать или пятнадцать лет, одета она — увы!— в европейское платье, но грива ее распущенных волос мрачна, тяжела и длинна, как ручей, падающий в горах с одного угрюмого камня на другой. Лицо крупное, правильное и яркое. Старая индуска отбивает такт на барабанчике своими сухими когтями, выкрашенными в красный цвет,— это мать, всю жизнь плясавшая на больших дорогах свой танец, древний, как религия, пока голод и старость не сделали ее похожей на мертвое дерево.

У танцующей в руках две серебряные гремушки. Они щелкают, как молодые птицы, прыгающие по снегу, но уже чувствующие раннюю весну.

Как она пляшет! Почти не двигаясь, едва переступая белыми тяжелыми ногами. Но при каждом ударе барабанчика ее плечи дрожат и опускаются, опускаются длинные ресницы, опускаются руки с их серебряной музыкой. И вдруг в томлении вздрагивает ее целомудренная грудь,—так внезапно и страстно, что сердце летит в какую-то невыразимую пропасть. А она смотрит, скосив пристальные, длинные зрачки, улыбаясь красными, как у бога любви, губами, которые одни цветут костром на

снежном, неподвижном, окаменелом лице. Она чиста и молода, как ее серебряные игрушки, но каждое движение ее глаз и сосцов причиняют физическую боль своим гордым, неподвижным и неудержимым сладострастием.

Какое счастье! Азия упорно не хочет умирать! Вот она снова прорвалась наружу и околдовывает тоскливую иностранщину.



Кончилась пляска, и возобновился прерванный французский разговор, — но она, старая, как мир, неувядающая, держит кальян желтыми маленькими ручками рабыни и подносит этот тонкий дым к губам курильщиц с такой зыбкой, спокойной усмешкой, с таким мерцанием опущенных ресниц, точно ей совсем не страшны ни безпламенный свет, ни знаменитое просвещение: надо всем этим чертит неуловимые, насмешливые круги ее кальян, переходящий из столетия в столетие. И когда афганки одни, без чужих наблюдательных глаз, они томятся, скучают, торжественно хоронят свое неумолимо и бесцельно уходящее время, как истые азиатки, как их матери и бабки, жившие в давно умершие времена, когда были молоды стены Кабула, построенные на непроходимой высоте.

II.

Небольшой дворец на берегу реки, оправленный, как и вся страна, в тройное кольцо черных холмов, снежных гор и облаков. Они сидят на полу стеклянной веранды, поджав ноги, покуривая свой кальян. За окном осень, река течет желтая, золотисто-глинистая среди мертвого камыша в пустых ровных берегах. Ни одного живого существа не видно до самых гор, одни пески, одни ровные, друг над другом вырастающие конусы и стая воронов, громадных, медленно плывущих против ветра в пустыню за добычей. Все женщины в черном шелку, без краски на лице, с небрежно падающими волосами. Они — тоже осень. Пришло время, когда надо отдать свой оконченный год, уже мертвый, потерянный год, — как его отдают хлеба, виноградники

и старые постройки, бросающие вечности свои камни, потому что у них нёт ничего другого. Желтоватые зори в горах, подмерзшие, обветренные поля, желтый поток и эти запертые женщины, пышно и безрадостно расточающие молодость, жизнь, будущее.

Иногда Азия прорывается и на официальных длинных вечерах. Благодаря какой-нибудь случайности в зале тухнет электричество. Исчезают паркеты, кресла Louis XVI, пропадает в темноте модный немой рояль, изукрашенный золотом, неподвижный, как гробница.

Две-три служанки прибегают со своими ручными фонариками, и вдруг зала играет, светится и трепещет. Ожили старинные камни, чудовищные диадемы, ожерелья, подвески и запястья,— все тяжеловесные, в Индии и Персии с бою добытые драгоценности. На шеях, тяжелых и белых, как мраморные глыбы, струится жидкий огонь; голубоватое и белое зарево на затылках, отягощенных узлами волос, литых из темного металла; драгоценная изморозь по изгибам ленивых рук. Сераджуль, мать эмира, потребовала свой старинный бубен. Принесли маленькую фисгармонию, два легких барабанчика, скрипку с восемью струнами. Европа забыта. Нетерпеливо отбрасывая шлейфы, освобождая ноги от неудобной обуви, стащив с рук перчатки, молодые женщины спрыгивают на пол со своих стульев,— становятся тем, что они есть на самом деле: скучающими, прелестными, ленивыми и веселыми, жестокими и беззаботными женщинами. Все они музыкальны; барабаны издают хриплую гамму, фисгармония тянет плясовую так медленно, так величаво, как на закате волы среди полей полный груз спелого, как шелк, шуршащего зерна. За музыкой пляска, постепенно ускоряющийся хоровод, в котором танцующие повторяют одни и те же порывистые и ясные движения. В этой всплескивающей руками, закидывающей назад голову карусели есть что-то от вакхической пляски „племен“.

III.

Началась весна. Снег еще не совсем растаял, но все ручьи клокочут, их мутные воды пахнут камнями, мхом, горной свежестью. И в этом диком вешнем запахе все напоминает аромат моря. Мельницы сердито шумят, бурный бег и плеск набухшей воды заглушает жемчужное шелестенье жерновов. Тополя побе-

лели, как молоко, засветились своей серебряной чащей на бесконечно нежном, неуловимо-бирюзовом небе. На бархатных озимых полях ярко-красные дети и подростки выпалывают сорную траву.

Это время весенних праздников, когда тысячи людей высыпают за город, к каруселям и чай-хане, струящим в чистом воздухе запах легкого угольного жара; время детей, которых отцы на плечах несут на „тамашу"; время трещоток, свистулек, маленьких идолов с золотыми глазками, бумажных мечетей, фиолетовых деревянных лошадей с оранжевой головой и зелеными ногами.

Скалы вдоль дороги унизаны людьми, на каменном карнизе, на ковре шелкового, темно-синего неба они выделяются, как цветные изваяния. Склоны желтых гор сплошь залиты людьми, — там смотрят борьбу и скачки. Верблюды, груженные хлопком, с трудом идут своей трудной и однообразной дорогой. Среди толпы, оставляя за собой легкий дымок пыли, поднятой краем слепого покрывала, нигде не останавливаясь, ни на что не оборачиваясь, проходят женщины двора.



Вандерлип в РСФСР.

Ему шестьдесят лет, этому старому Вандерлипу, но несметные миллионы не дают ему остановиться, перевести дух, подумать о спасении своей запыхавшейся души.

Золотой доллар бежит вокруг мира, а за ним гениальный эксплоататор, торговец красными, желтыми и белыми душами, великий Вандерлип. Доллар капризен, более прихотлив и взбалмошен, чем старое, классическое колесо счастья.

Ему не спится в недрах несгораемых шкапов, в блестящем улье банков. Он выскальзывает из верных, обеспеченных предприятий, перекипает червонной пеной через края разумной спекуляции. Американский золотой прыгает все ниже, и, промелькнув соблазнительной тенью через кроваво-грязное игорное поле Европы, приводит великодержавного откупщика в кабинет Ленина.

И вот старый надуватель, корректный и набожный, сидит и торгует у гения революции заповедные лесные трущобы Сибири и Архангельска, и каспийскую саженную осетрину, пространство и время немеренных русских дорог, и нефть, и соль, и уголь, и даже, если красное станет розовым, если революции не миновать буржуазного чистилища, то и немного рабочего и мужицкого пота, до которого такой охотник этот американский шалун, этот веселый, звонкий, солнечно-смеющийся доллар.

Что между ними говорено,— этого, собственно, никто хорошенько не знает. Как они сидели друг против друга, этот большой, большущий разбойник в оболочке добровольного квакера, с поджатыми, бритыми бабьими губами, с вместительным, коротко остриженным седым черепом бухгалтера, подсчитавшего все рас-

ходы и приходы вселенной, сумевшего взять честный процент со всех банкротов, со всех могил „неизвестного солдата“ и всех победителей мира, — этот великолепный Вандерлип, непринужденно говоривший дерзости королям и пресмыкавшимся президентам республик, этот Вандерлип, у которого только глаза, молодые, неустрашимые глаза объездчика степных лошадей, говорят правду, и Ленин.

Вероятно, Вандерлип не сразу понял, что такое Ленин.

Врал, грубо соблазнял, заманивал, может-быть, даже разложил на письменном столе веленевые, с золотыми печатями, аттестации своих трестов, украшенные подписями королей и принцев, величеств угольных, суконных, машинных и пушечных. Но когда Ильич, наконец, засмеялся... когда старый американец вдруг почувствовал, что сидит в своем кресле голый, как король из сказки Андерсена, до того голый, что его собеседнику видны все цифры и тайные выкладки, все вожделения, как пчелы, роящиеся в клетках его мозга, — тогда Вандерлип перестал врать. Стал прост, огромен, как его огромные предприятия, смел и откровенен.

И пошел на приступ.

— Я покупаю голод. Сколько вы за это просите?

„За умирающих детей, за ваши поля без машин, за разрушенные дома, за все пути, покрытые снегом и песком, за все язвы вашей дьявольской революции, за ее отдых и покой, за безопасность завтрашнего дня, говорите скорее, скидывайте, Владимир Ильич, скидывайте на ваших красных счетах!“

И божественный доллар заиграл, запел и зазвенел в спартанском кабинете. Несколько слов, росчерк пера, коммунизм, отступивший лет на сто из мира действительности в область утопий и золотого идеализма, — и капитал оплодотворяет, вдыхает новые силы, брызжет живой водой, дает все готовое вместо своего, трудного, все наново изобретающего строительства.

Божественная легкость купли и продажи — Интернационал вольных денег и вольной торговли.

Прощение, примирение, братская помощь России. Не побеждённой, — нет, ее честь должна быть пощажена, — а лишь разумно уступившей голоду, стихиям, милосердию. Суровые венки Октября и трех лет гражданской войны — на алтаре гуманного человеколюбия. Маркс, проданный Вандерлипу ради спасения голодающих детей.

— И завтра — вот завтра, смотрите, Ленин, вы, душа фабрик и фабричной эры, вы, отец машин, вы, идеолог мирового рабочего объединения. Ваше рабочее, ваше пролетарское сердце не устоит перед трудовым раем, который я, Вандерлип, принесу Российской республике в обмен на пустые и уже отжившие социальные бредни".

— Вот, смотрите, ваша РСФСР,— и доллар поет и рисует,— нечто большее, чем Америка Уитмана, — машины, и уголь, и нефть...

Урал, раскованный, как пещеры Аладина,—изумруд, сапфир, алмаз, и таинственный радий, в котором смерть и здоровье, мертвый огонь разрушенья и само исцеляющее солнце.

Желтый Каспий, весь в переливчатых пятнах нефти, горячая Астрахань, заваленная рисом и хлопком Персии, коврами, вином, оглушенная криком верблюдов, изнемогающих под своими вьюками.

Пески ожили, и до самого Мертвого моря — виноградники и сады: Закаспийский суровый край цветет, как его миндальные рощи ранней весной.

И Сибирь — ее золотая руда, которую до сих пор мелочно и жестоко воровали, насилуя и оскорбляя землю.

Эврика!

Новое Эльдорадо у берегов Ледовитого океана, золото, текущее густыми струями вдоль великих северных рек. И шум столетней хвои. Тайга, с ее шкурами, салом и драгоценными породами деревьев, брошенная на европейскую биржу, как скифская невольница, неслыханная, могучая и плодоносная.

Ведь, это спасение Европы, это омоложение усталого белого человечества.

В молочных реках, в смолистом море лесов, в сверкании девственных руд — будущее, новый эпос, новая религия победоносного труда и творческого капитала!

— Ленин, вы придумали электрификацию,—я ее осуществлю! Вместе, только вместе, мы построим ваш машинный рай, вашу Россию, которая согнется под тяжестью железных путей, чьи снега поголубеют, озаренные спазматической, волевой электрической вспышкой.

„Ваши фабрики закипят, ваши верфи смешают с холодным и чистым воздухом взморья утренний, соленый, петровский стук

молотков. Ваши гавани оживут, и смолой, и жизнью, и молодым богатством повеет от высоких тюков, сложенных бесконечными рядами, от яростного воя сирен, от плеска морской воды, кипящей между гранитом петербургских набережных и обветренными бортами океанских кораблей.

„Вы всегда были практиком, Ленин, три года вы смывали кровью и слезами ненужные теории—законы, коварные росчерки упраздненных обязательств и договоров, заключенных вашей царской, воистину идиотской дипломатией.

„Будьте же практиком и теперь, не приносите в жертву теории, хотя бы и марксистской, великую реальность рабочей республики.

„Конечно, мы были неправы, — мы вас не понимали и недооценивали интервенции, и все такое... Больше этого не будет. Но по-честному—и вы бросьте-ка свои эксперименты с частной собственностью и Третьим Интернационалом.

„Вы огромный человек, Ленин, у вас изумительный череп, чисто-американский. Теперь, когда недоразумения окончены, я могу сознаться: эта ваша спекуляция с социальной революцией гениально была придумана. И совершенно ново, неповторимо оригинально. Даже мой доллар пошатнулся, не говоря уже об их падучем франке и прочее.

„Как деловой человек, советую неплатить никаких долгов, — запрашивайте, играйте еще смелее. Они уступят.

„Но в такой игре, как ваша, нельзя быть одному. Вы и я — мы сговоримся, мы должны стать компаньонами, и тогда"... Тут золотой запел остро и пронзительно, как рожок перед атакой, как кнут, взвившийся над головой скрежещущего мира, как осторожный ключ, который тюремщик старается повернуть в заржавелой, давно не отмыкавшейся двери.

Может-быть, в кабинете стало темно, незаметно надвинулись сумерки, окна засинели, Москва замигала первыми фонарями, и полились колокола. Прежде чем ответить, Владимир Ильич повернул выключатель,—и вот свет.

Перед Вандерлипом, успевшим принять свое приличное иностранное выражение,—лицо Ленина с его татарскими, несколько раскосыми глазами, которые смеются из-под большого лба. Кажется, это вовсе не лоб, а белая березовая кора, лохмато на-

двинутая на самые эти языческие, светлые, спокойно-веселые глаза. Из своего дупла они теперь смеются, как на Ивана Купалу.

Вандерлип невольно встал, поклонился, как после оконченной дуэли, и взял со стола шляпу и трость.





Вандерлип в Афганистане.

Из Москвы миллионы Вандерлипа погнали его на Восток.

Как и все стареющие завоеватели, он стал думать о походе на Азию, о чудовищном объединении Китая, Афганистана, Персии, Месопотамии и Турции в единую банковскую и железнодорожную державу.

Замостить шпалами дороги Александра Великого, Моголов и Цезарей, включить в единую электрическую цепь все разрозненные куски мусульманских государств, охваченных национальным брожением, связать все рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, открыть Америке новые ворота в Азию, проложить ее товарам триумфальный путь через весь Восток. Убить англо-индийскую торговлю одним ударом, кончить ее, уничтожить, как хороший боец бросает в пыль быка. Этой блестящей шпагой, этим прямым, в глубину голубой Азии убегающим клинком будет великая магистраль. Она вонзится не только в золотой затылок Индии,— нет, мечты Вандерлипа смелее: она уложит на лопатки и ликвидирует всю восточную торговлю Англии, она задушит ее рынки, наводнив их всепроникающей, всемогущей дешовкой.

От Шанхая до Кашгара, от Тегерана до Константинополя в реве паровозов, пересекающих пустыню, прозвучит победоносный гимн дешовой спички и дешового чулка, общедоступной бритвы и непобедимых в своем ничтожестве подтяжек. И взамен всего этого Америка возьмет чистый кудрявый хлопок, жемчужный рис,

раздвоенный посередине, как нежный подбородок, и моссульскую нефть, эту черную душу движения, скорости и силы.

Под треск и вой обанкротившихся английских предприятий, под широкий, непрерывный, водопадный гул, с которым американский капитал ринется в песчаные русла Азии, под раскаты новой войны и навязав истории свои акции и векселя на сто лет вперед,— вот как хочет кончить Вандерлип, и вот почему он сегодня гостит в Кабуле, столице Афганистана.

Время Вандерлипа идет со скоростью курьерского поезда. Слепое, оно дает сильный крен на поворотах, летит на одном колесе, содрогается, скрипит, и опять вперед—по кратчайшей математической линии. Вандерлип живет в своих несущихся часах, днях и неделях, как в вагоне международного общества. Всегда спокойный, прямой, чисто выбритый и немного пыльный.

Скорость движения и размах мировых авантюр не мешают ему посасывать трубку, прочитывать послеобеденную газету и совершать длинные верховые прогулки. Афганский офицер, сопровождающий его, от усталости болтает ногами, ерзает, сидит на шее лошади. Американец ничего,—крепко держит сухими коленями своего жеребца, точно пачку деловых бумаг патентованным зажимом. Не потеет и не устает.

Бросив повод солдату, карабкается на горы, набивает карманы и седельные сумки камнями, нюхает и пробует мутные воды минеральных источников. Затем душ, жирно-сладкие, пряные кушанья восточной кухни, с которыми его железный желудок отлично справляется, а вечером трубка и граммофон, радостно горланящий в сумерки Гюлистана: „Everybody is crazy on the fox-trot".

Вандерлипу безразлично, по какой стране, среди каких людей летит его курьерский. Желтые, красные, советские пальмы, тундра или пески,— лишь бы дела шли без опоздания, ровно стуча маслянистыми колесами, едва переводя дух на остановках, шумно дыша широкой, высоко поднятой паровозной грудью. Все по расписанию, без потери времени, без лишних слов, И вдруг долгая, мучительная, нелепая остановка в Кабуле.

Темп Вандерлипа тонет в сыпучих песках восточного красноречия, в лени и слащавой медлительности афганцев, как поезд, сошедший с рельс.

Ему назначают свидание в министерстве. Он едет туда, вооруженный цифрами, короткими и резкими доводами, скупыми

словами, пропускающими торопливую мысль, как турникет запоздалого пассажира.

Но ему предлагают чай. Но его угощают сладкой дыней, и справляются, использовав при этом пернатую строку Саади, о драгоценном здоровье американского друга.

Вандерлип в двадцати местах прорывает это сладкое марево... Он вводит в него свои увесистые рычаги, он со всей силой нажимает на их рукоятки.

Напрасно. Дым кальяна и любезность попрежнему неуязвимы, коварные удары логики бьют улыбающийся воздух, практический Вандерлип три часа сражается с уклончивым призраком, он сам себе смешон, как дон-Кихот, его часы твердят, что сегодняшний



день просто потерян, и поезд жизни, прождав Вандерлипа одну минуту восемнадцать секунд, ушел без него.

Верблюды, жаркое небо, богатый базар. Вышивальщики и ювелиры, седельщики и гончары, шелк, кашмирские, персидские и бухарские ковры, тысяча живых пустяков, солнечные пятна и густая тень, в которой развешено старинное оружие и качаются перепелки в своих остроконечных клетках, похожих на колдовские шапки. Они качаются в них и, не видя солнца, поют о вечной весне.

Вандерлип осматривает базар, осматривает сады и злится. В самом деле, в других странах он привык к быстрому, экономному труду. Сорок лет он снимал с дикарей их драгоценные цветные шкуры и ни разу не натолкнулся на праздное любопытство и, тем более, на неуместное сопротивление. Он даже

не сдирал, а только чуть-чуть подпарывал на спине опекаемых их скифские шубы, и все эти желтые и черные, коричневые и красные услужливо сами из них вылезали, получая взамен манжеты на ноги, кольцо с фальшивым камнем в нос, бутылку



джинджера и вообще прогресс. И вдруг эти афганцы не хотят, торгуются часами, требуют особой платы за свои пустыри, непроходимые горы, лишенные всякой ценности, за свою грязь, невежество и голь. Вандерлип переходит в контр-атаку,— и тотчас министерство исчезает в дымке пустопорожней любезности, и опять миллионер мечется по знойным и пыльным улицам, не спит по ночам, глотает хину и лед. А между тем, он чувствует, что за алчностью и подозрительностью, готовой часами цепляться за всякую запятую, за упорным нежеланием понять свои, а главное его, Вандерлипа, выгоды, прячется какая-то сила, нечто цельное, самоуверенное и неподкупное. Да, неподкупное, несмотря на повальное взяточничество чиновников. Неподкупное, несмотря на бедность и все растущие расходы на армию, школы и новые суды. Минутами кажется: вот она, победа! К американскому карману уже тянется трусливая рука, ее темные ногти, как голодные присоски. Но нечто более сильное, чем жажда стяжания, какая то неведомая Вандерлипу стихия отбрасывает

ее назад, заставляет жертвовать собой и уклоняться даже там, где тысячи неутоленных хотений кричат о золоте.

„И все-таки,—думает Вандерлип,—кто знает? Посмотрим".

Уже усталый, уже больной многодневными перерывами между деловыми свиданиями, он все-таки едет в загородную резиденцию эмира, на восьмидневный праздник независимости. Клокоча от скрытого нетерпения, он любуется скачками слонов, сражением баранов, стрельбой в цель и сладко-ехидной междоусобицей вельмож. Часы же в жилетном кармане выговаривают одну за другой потерянные минуты.

Вандерлипу отведена палатка на берегу искусственного озера, вокруг которой без дела слоняется злобный и мизантропический пеликан, порождение не восточной, отчетливой и целесообразной природы, но западной, знающей возмутительную прелесть химер.

Вокруг миллионера Вандерлипа, дельца и джентельмена, в течение недели бродит эта наглая птица, этот отброс бодлэровской фантазии, которая шипит на его желтые сапоги, щелкая огромным, полым клювом и злобно блестя маленькими белыми, как у мертвой рыбы, глазками. Пеликан мальтретирует Вандерлипа! Вандерлип принужден терпеть общество пеликана в минуту гнева выворачивающего наружу свои красные внутренности, целый обширный зоб.



Вандерлип болен. Он лежит в палатке и обдумывает последний решительный натиск на своего мягкого, как студень, противника. Между двух малярийных приступов он видит перед собой все подробности дела, которое должно повлиять на историю, и убеждает себя в том, что это огромное, сложнейшее предприятие, назревающее, как промышленная война, как открытие нового золотоносного полюса, вокруг которого послушно завертится весь капиталистический мир, не может поскользнуться на недоверии афганцев, как на скользкой лапе этого гнусного пеликана.

— „Уэк,— кричит пеликан — уэк, уэк",— и щелкает клювом.

Для того, чтобы понять дальнейшую неудачу Вандерлипа, надо знать, что такое праздник независимости в Афганистане.

Правительство и иностранные послы придают ему официальный оттенок. Слоны, маневры, бега и речи не выходят из рамок обычной на Востоке „тамаши“. И не в них неотразимая прелесть и торжественность этих дней, посвященных независимости.

Когда эмир на четвертый день вместо мундира появляется в одежде пограничных племен: в серой чалме, в темно-синей холщевой куртке, перекрещенной патронташем, в сандалиях на босу ногу,— тогда весь Кабул знает, что начинается жгучая, мистическая и глубоко-национальная часть праздника. Завидя за плечами Аммануллы-хана старинную винтовку пограничников, английский посол обычно ощущает легкое недомогание и, ласково извинившись, исчезает в облаке автомобильной пыли. Гудок его Ройса провожают хриплые, ненавидящие рожки воинственных племен, сто лет пролежавших, как нетающий снег, в глубоких складках Гиндукуша.

С утра вазиры и африди приводят себя в состояние воинственного возбуждения, которое к четырем-пяти часам дня доходит до экстаза. Они пляшут могучими ястребиными кругами, боевыми братствами. Каждое племя под своим треугольным знаменем, обожженным в пороховом дыму восстаний и набегов. Блестящие черные волосы танцоров взлетают и опускаются опять, как стая воронов над полем битвы. Они кричат, палимые тропическим солнцем и этой музыкой, обжигающей внутренности.

В середине круга, в середине черного колеса, в венке из острых волчьих криков ходит один, холодный, осторожный и жестокий. Его голова выбрита, и три клока волос на голом черепе напоминают облик древних китайских воинов. В солнечный день среди тысячной толпы он танцует ночь, пустыню и одинокое преследование. Потом убийство и радость черного от крови меча. Осушая его в песке, целуя трепетный свет и черноту его старинных изречений, ходит воин среди круга, ничего не видя, но безошибочно-быстрый и вкрадчивый, как помесь человека и желтой, легкой, могучей кошки.

Полдень, закат, ночь...

Он все ходит, как неутомимый жнец, приземистый, крепкий и неторопливый. Его меч о двух лезвеях, расколотое пополам новолуние, караулит и казнит, горит кровью бесчисленных ран, вызывает из земли противника за противником и всех убивает.

И вот что самое главное. Танец племен — не старинный обряд, не художественная традиция, а правда. Они танцуют то, что вчера было у Хайберского прохода, что завтра может повториться под стенами форта Макин.

Они танцуют не просто войну, но войну с Англией. Тени, падающие под мечом одинокого воина,— это реальные, живые люди в белых шлемах и пыльном хаки, это ныне здравствующие мистер Хемфрис и сэр Добс, это убитый пятьдесят лет назад в Кабуле генерал Каваньяри,— это они, и тысячи других, безыменных, без вести пропавших в джунглях и на перевалах, в песках Афганистана, Памира и Индии.



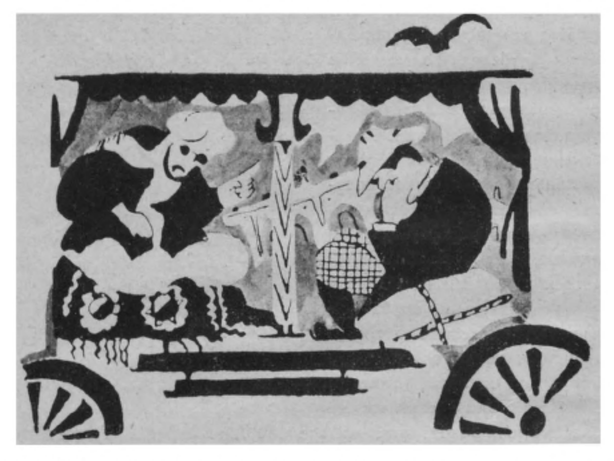
Под ногами пляшущих вазиров клубится не пыль, а полчища, тучи саранчи цвета хаки, налетевшей с юга и запада, поразившей самые маленькие, запрятанные в горах пастбища пограничников, отравившие их колодцы своими безликими останками и ползущие дальше, через пустыни, вечный снег и голые камни. Племена топчут их ногами, но бесчисленные, безыменные истребители просачиваются везде, им нет числа и меры, конца и названия. Они — тли, им не опасен меч, выкованный во времена Александра.... Тогда вдруг все круги пляшущих размыкаются, музыка сливается в пламенный рев, воины — в одну голую горячую стену, все черные взлетающие гривы — в один грозовой, черно-синий пламень, мечи над головой, и пыль, как дым, и пляска, как пожар.

„Горим, горим“,—хрипит музыка, и на саранчу в мундирах хаки, на полчища тлей-завоевательниц обрушивается чистый и безжалостный огонь. Горит трибуна, вся площадь, небо, горы, вся страна и весь народ, и сквозь грохот этой победы, несущейся вскачь, с обугленным лицом, эмир кричит голосом, покрывающим все:

— Саламат бад истеклал-и-Афханистан!“...

„Никаких концессий я не получу. Надо уезжать“. Вандерлип щелкнул эмира кодаком и пошел к своей палатке.

Он, воплощение скорости, уехал из Кабула в старомодной, чудовищно-неповоротливой карете. Перед ним в углу сидел его михмандар, нестерпимый, как и все михмандары Востока, своими пытливыми очками, чрезмерной любезностью и острыми коленями, торчащими всюду, куда ни потянись. Вандерлип уже придумывал обходную дугу своей магистрали, которая делала ненужным Афганистан. Стук расшатанных, гремучих колес по щебню напоминал ровное пульсирование поезда, и мысли выравнивались бесконечными параллельными нитями, закрепляясь то цифрой, то горизонталью итогов, как телеграфные проволоки от столба до



столба. Вандерлип никогда не возвращался назад и не жалел о совершонном. Но в данном случае его беспокоил не самый факт неудачи, но ее полная необъяснимость. По кожаному верху кареты успокоительно стучал дождь, точно кто-то большой сидел в этой темной ночи, рассеянно барабанил пальцами и тоже думал: почему?.. почему?.. почему?..

„Нет, нет,—припоминает Вандерлип,—они не так глупы. Не так уже глупы".

Кучер хлещет мокрых, горячих лошадей там, снаружи.

„Они упрямы, да, но дело не в упрямстве, не в одном упрямстве. И эмир — крупный человек. Мне пригодился бы такой

энергичный и деловитый парень в Калифорнии. Вечные забастовки на этих приисках. Да".

Карету тряхнуло, стукнуло, жестоко бросило в сторону.

„Сопротивление, вот в чем дело! Сопротивление всему чужому. Еще бы, народец, который Англия не смогла проглотить за сто лет!"

И вдруг, улыбаясь, чувствуя, что все ясно, как пара прямых, новых рельс:

— Михмандар-саиб, а что значит „истеклаль"? „истеклаль"?

И склонив голову на бок, прижав руку к полному животику, михмандар перевел, улыбаясь лукавой, тонкой восточной улыбкой:

— „Независимость", ваше превосходительство.

Как пишется история.

Нам понятна долговечность идей; никто не удивится человеку, в наши дни живущему ненавистями и приязнями Руссо, Шопенгауэра или Гете. Может-быть, даже найдется некто, любящий Тассо или Джордано Бруно, для которого поныне тень от белых стен крепости св. Ангела ложится на горячий полуденный путь, как печаль и безумие. Кое-где сохранилась боязнь черной иезуитской рясы, холод в костях отдаленных потомков от жара священных костров. Но нигде старая вражда не стоит так долго, как на Востоке. Много столетий назад Ормузд и Ариман побеждены Магометом; давно написана и успела обветшать „Книга царей“ поэта Фирдоуси, но так же, как на червонных страницах рукописей, мертвые идеи еще спорят, одни вечно сопротивляясь, другие нападая.

Их развозят по Востоку особые ученые, смесь современного литератора и старинного проповедника, комми-вояжеры новых идей и учителя состарившихся истин. Именно таков новый гость Афганистана—Мирза-Абдул-Мухамед, просвещенный человек, издатель либеральной газеты в Египте.

Ко двору эмира Аммануллы-хана он приехал, как езжали англичане в Немецкую слободу к Грозному, голландцы к Петру, и как до сих пор странствуют шарлатаны, мастеровые и вообще люди грамотные к отсталым, но богатым соседям. Он привез с собой в Кабул шелковистую профессорскую феску, отличный сюртук, важность и серьезность святого человека—и историю Афганистана в семи томах, по две тысячи листов каждый, над которыми трудился двенадцать лет не без надежды на щедрое вознаграждение в будущем.

Двор принял ученого с почетом, очень одобрил нумера его журнала „Надежда Правоверного“ или „Что делать благочести-

вому мусульманину?", однако, отвел ему более чем скромное помещение вблизи могилы императора Бабура и вежливо, но твердо уклонился от уплаты старого долга за выписку „Упования сынов Магомета". Как ни был серьезен и красноречив ученый перс, в плохо отапливаемых, но пышных развалинах Великого Могола он ничего не приобрел, кроме почета. Разочарование, неопределенные обещания и совершенно платонические ласки правительства сделали отшельника более откровенным. В своем пустынном уединении он обдумал и заготовил не одну теплую страницу об „истинном" состоянии Афганистана, этой, по его мнению, „отсталой деспотии, которую могут превозносить только продажные перья, но не свободные умы мыслителей, чуждые всякой суеты" (к разряду последних причисляется, конечно, и означенный перс, двигатель прогресса).

Таков этот тип восточного литератора, путешествующего целую жизнь между Каиром и Портой, Кабулом и пирамидами, разнося либерализм, легкий скептицизм под маской благочестия, идеи национальной независимости, сплетни и новости, из которых, в конечном итоге, складываются репутации правительств и политических деятелей.

Это кочующее общественное мнение со скромным запасом белья и денег, но с тем бо́льшими амбициями. Из Афганистана оно едет ущемленным. Но не стоило бы, пожалуй, так подробно останавливаться на этом представителе шестой державы, если бы он в своем ущемлении не обнаружил очень оригинального, геологически чистого пласта идей и знаний. Мирза-Абдул-Мухамед не просто бранил Афганистан, не сумевший оценить своего первого настоящего историка: он бранил с озлоблением, доходящим до принципиальности. Он становился атеистом при виде кабульского ханжества; реформатором — в виду царящего застоя; революционером — на фоне, так-сказать, допетровского раболепства (в гостиных Каира,— твердит Абдул-Мухамед,— давно оставили условное низкопоклонство, коим еще всерьез упивается Кабул), а главное, в душе этого истого перса, с его ученостью и ленью, привычкой к политическому злословию и английской свободе если не печати, то хоть цензуры, проснулось какое-то подобие гражданской гордости.

Будучи сам ученым перекати-поле, но персом, а следовательно, человеком, в жилах которого течет старейшая культурная кровь, он пересмотрел свою историю Востока и нашел в ней

полное отсутствие культуры. Оказалось, что все семь томов, рассмотренные с этой точки зрения, были летописью мракобесия, на протяжении десяти столетий выполовшего все травинки искусства и мысли. Песок, камень и кривая сабля, — больше ничего.

Слово за слово, довод за доводом, из личинки примазывающегося придворного историка выглянул иранец, чистокровный перс, пропитанный старинной ненавистью против голой, все оскопляющей религии победителей — арабов. Коран! Ведь, это книга, полная грубых бессмыслиц, животной чувственности, вообще, произведение, достойное палатки невежественных кочевников, из которой оно вышло на горе человечеству только для того, чтобы сжигать старые цветущие города, библиотеки и сады, довести до полного упадка живопись и архитектуру, обратить в ничто все завоевания античной мысли.

Только персы спасли от огня и меча переводы Аристотеля и Платона. Персы, окружавшие блестящей толпой министров, поэтов, врачей и историков диких арабских владык, в роде Гаруна аль-Рашида, украсили цветами своей увядающей культуры его кровавое царство, смягчили дикие, мелочные установления Магомета мудростью Зороастра, гуманизмом древних огнепоклонников, первых магов и астрономов мира. Через Персию греческая философия позолотила тонкие колонны и узорные купола Мавритании. Вся арабская культура, откуда она?

Лицо иранца окрасилось волнением, отблеском старой ненависти, неугасающей, как огонь, сбереженный на чистых парсистских алтарях близ Бомбея. Когда в наши дни живой человек говорит о дворе Гаруна-аль-Рашида, как о чем-то, бывшем вчера, а может-быть, существующем и сегодня; когда он вдыхает свою живую, мучительную вражду в мертвый прах, в истлевшие столетия, — они оживают, они молодеют, включенные в гальваническую цепь настоящей борьбы, настоящих страстей и злобы. Неживой противник подымает мертвые веки, чтобы ответить тусклым, упорным, все еще высокомерным взглядом на запоздалый бунт потомков.

„Гарун-аль-Рашид — варвар, дикарь, насильник, оставивший по себе славу восточного Медичи, покровителя искусств, только потому, что утонченная культура побежденных продолжала цвести под ногами победителей. Растоптанные розы Ирана благоуханны навек, пустыня корана пропиталась их ароматом“.

Перс давно покинул область научных доводов, перестал цитировать и называть хронологические даты. Легенда открыла ему голубые, как небо, эмалевые ворота, и бедный ученый со своими крахмальными манжетами и безобразным европейским сюртуком послушно пошел за легкомысленной музой сказок.

„Когда погибла персидская культура, когда? Я вам сейчас расскажу. У этого необузданного государя, у Гаруна-аль-Рашида, был министр - иранец, который вместе со своим сыном был украшением его царствования. Они созвали ко двору араба знаменитых персидских ученых, художников и поэтов. Устроенные ими медрессе цвели ученостью и красноречием, нравы победителей утончились, язык смягчился и принял счастливые обороты поэзии и риторики. Гарун прославился не только силою оружия и несметным богатством, но и блеском просвещения, окружавшим его престол. Между тем, сын великого министра, прекрасный перс, полюбил дочь Гаруна-аль-Рашида и пожелал на ней жениться. Вся гордость араба возмутилась, когда он узнал о том, что иранец из униженного им племени, человек несвободный, почти пленник, не имеющий ничего, кроме своей образованности, смеет мечтать о дочери царя-победителя. Но так как молодые люди несколько раз видались за городом в одном из замкнутых садов, полных роз, павлинов и свежей воды, так как Осан видел без покрывала лицо своей возлюбленной и таким образом запятнал ее, как мусульманку, то Гарун-аль-Рашид согласился на бракосочетание с тем, однако, условием, что молодой муж никогда не узнает своей жены, и ни одна капля низкой персидской крови не вольется в жилы аравийских царей.

Осан согласился, и грустный договор вступил в силу. Дочь Гаруна-аль-Рашида ничего не знала о нем, и пренебрежение мужа жестоко ее поразило. В течение целого года она напрасно старалась приблизиться к Осану. Наконец, несчастная женщина рассказала о своем бесчестии матери, и та нашла способ ей помочь.

Однажды царица ласково подошла к своему зятю и сказала ему:

„Ты печален и живешь без любви. Сегодня вечером я пришлю тебе гречанку необычайной красоты. Насладись ею, мой милый сын, но не зажигай огня в своей комнате. Эта девушка чиста и стыдлива“.

Осан согласился, и ночью пришла к нему его жена, дочь Гаруна-аль-Рашида. Обманутый темнотой и молчанием, он сделал

ее матерью в первую брачную ночь. Таким образом победители и побежденный готовы были навсегда примириться; угасающая Персия соединила свою нищету, мудрость и поэзию с варварской силой и богатством арабов. Но царь не простил дочери ее унижения. В одну ночь он отрубил голову своему министру, его сыну и многим знаменитейшим философам и художникам-персам, жившим при его дворе и во всех частях обширного государства.

И новорожденный, в котором прошлое мирилось с будущим, разделил казнь своего отца".

Перс потух, поправил очки на носу и ничего больше не добавил.





О людях и странах, отделенных от СССР и 1925 года пустыней, несколькими веками, кряжами гор и кривой мусульманской саблей.

Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.

Азия в этой своей мертвой полосе между Туркестаном и Индией чужда всяких аффектаций. От каспийских солончаков и до Хайберского перевала, за которым начинается таинственная Индия, она покоится от века недвижимая, голубея и блистая рядами нагих хребтов. Их одевает тишина, пространство, излучение времени.

Если что-нибудь фантастично в этой древней стране, то не она сама, а скорее телеграфные столбы, гигантскими шагами идущие в горы, перемахивающие через ручьи и дикие речки, в клочьях пены похожие на великолепных верблюдов, разгневанных понуканиями погонщика.

Сказочны яркие огни автомобиля, ползущего на железную, ничем не прикрытую гору. Сказочно сердцебиение шестидесятисильного мотора, заглушающего все звуки азиатской ночи. Как во сне, белеют потоки электричества, в которых купаются камни, колючие кусты и обрывы, мимо которых пешком, осторожно ведя лошадь на поводу, шел Александр Великий.

Какая же экзотика в самом Востоке? Здесь умирают просто, и просто закапывают в землю. Ни имени, ни воспоминания. Пр:-

сто вешают воров и пашут деревянным клыком, который тащит пара замшевых, круторогих, прекрасных быков.

Все это кажется нам чудесным только потому, что где-то есть гробницы Микель-Анджело, американские механические плуги, своды законов и стремительный нож гильотины. Но, с точки зрения Солимановых гор, верблюды—наилучший и самый быстрый способ передвижения. Вдоль глянцовитых, мутных и быстрых рек должен расти камыш, чтобы в нем охотиться и спать хищникам. А там, где заросли сожжены кочевниками, на вязкой, пахучей почве зеленеют листья мака, целые поля опиума, и мельница, устроенная в дыре, накрытая камышевой настилкой, шумит мутным ручьем и шелестит первобытным жерновом. Так было и должно быть вовеки.

Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не остается заметных следов.

Какой-нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, — а все остальное у нас, ведь, общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью.

Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как-то неловко торопиться. Один мост через Оксус, через Аму-Дарью, грязным, мутным валом валящую через пустыни, как желтая орда,— висит от берега к берегу призраком чуждой культуры. Но, право, этот мост, которому не на что опереться в пустынной топи, кроме своих бетонных быков, так же одинок в Азии, как и в Прикаспийской степи. Он висит над мертвечиной времени и пустого пространства,—сухой, высокомерный, пренебрежительный отщепенец.

Совсем иначе входит Англия в пределы афганской Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью безыменных солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути будущих наступлений, у Хайберского прохода, сейчас даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду, текущую во всех придорожных канавах.

Двойной ряд шоссе соединяет Индию с Афганистаном, которому она, сама раба, должна будет набить колодки и кабальный ошейник. Телеграф и телефон пододвинуты к самой границе,

несмотря на почти столетнее сопротивление независимых племен, оберегающих южные, угрожаемые границы эмирата.

Наконец, коммуникационная линия перешагнула и сожженные деревни вазиров, засыпанные аэропланными бомбами в своих только со стороны неба доступных орлиных гнездах, и через условную линию политических границ. Зимний ветер на базарах Кабула поет в тугих проводах индо-английского кабеля; вожаки караванов доверчиво и небрежно привязывают верблюдов к его предательским, стройным столбам, литым из того же металла, из которого делаются пушки и штыки колониальных армий.

Полуразрушенные загородные дворцы и гаремы прежних эмиров спешно перестраиваются под торговые фактории; английский представитель собирается строить целый квартал,— резиденцию будущего афганского вице-короля. С ни с чем не сравнимым самообладанием переносят пионеры великой державы оскорбления, ругательства и притеснения со стороны „туземцев“, которые на секретных картах генерального штаба уже обведены пунктиром, пришиты к Пешаверской провинции и общему индо-британскому отечеству и отгорожены от России прохладной нейтральной зоной, проведенной аккуратным циркулем топографа где-нибудь на полпути между Мазар-и-Шерифом и Кабулом, Кандагаром и Гератом.

Джелалабад, сказочный городок на крайнем юге Афганистана, является живым памятником старой, ныне оставленной, политики Великобритании в маленьких восточных деспотиях. Это кусочек средне-азиатской пустыни, унавоженный, оплодотворенный, благословленный потоком английского золота. Верхушки финиковых пальм, шелестящие металлическими веерами в обетованном небе, розы и левкои в январе, налитые золотом и медом мимозы; белые дворцы, фонтаны и искусственные ручьи,—все пример мирных чудес, которыми наполнится глухой каменистый пустырь, если его воинственный и невежественный народ позволит золотой палочке британского капитала прикоснуться к своим бесконечно унылым пространствам.

Старый эмир Афганистана, Хабибулла-хан, был куплен англичанами. Они научили его пользоваться богатством, развили вкус к безмерной роскоши. Английские инженеры и техники заменили перекипающему от жира и болезненного разврата шаху услужливых духов „Тысячи и одной ночи“. Цивилизация начала свою облагораживающую работу с уборных гарема, оборудования евро-

пейской кухни и устройства отличных дорог, по которым автомобиль его величества мог беспрепятственно перекочевывать из одного притона, устроенного его европейскими друзьями, в другой, расположенный где-нибудь на другом конце пустыни, предоставленной пыльным ветрам и равнодушно влачащимся верблюдам.

Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоуханный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.

Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скаредный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящее, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлобное отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет—со священными плясками, угар кутежей—с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно — путем аскезы или маразма.



И вот на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто-нибудь из белых, кто-нибудь из касты господ, пьющих сода-виски, задрав ноги на голову поверженной Индии,

отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Шехеразада, Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознания, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.



И спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми философскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно поддерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.

В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии, после тяжелой войны, пришлось начинать сначала. На этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.

Но вернемся к теме.

Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя.

Не просто флаг,— но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля *$_*$*. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользском паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассатами и муссонами.

Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее, является крупным земпевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лойяльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должал, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньгу. Он снизошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра — нечто в роде Муссолини, послезавтра — кто знает?—запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.

Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей, так-сказать, в безвоздушном пространстве,— это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе — не выражать своим

поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус — более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных—увы!—в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг-друга. Священная обязанность каждого из послов—честно разгонять сплин своих коллег и во-время подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и па которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический „театр для себя" на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям-ньямов или папуасов. Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы, — будь то паркет, или глиняный круг, вытоптанный возле костра людоедов, — сошлись два авгура, два знатока пустопорожнего священнодействия, — они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы, отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд, — утонуть, наконец, в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол — своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.



Ругали-ругали большевиков, а сейчас—не угодно ли?—ни одна путная конференция не обходится без участия этих монстров.

Но и тут всеобъемлющая лойяльность Ноаля вывела его из стесненного положения. Ведь, он пожимает руку не большевику, но полномочному министру, высокой юридической личности, не

подлежащей обсуждению. И если, по счастью, носитель славного звания, выскочивший из самого пекла большевизма, не вытирает нос скатертью и не вовсе оранг-утанг, то Ноаль, предав забвению грешные годы нашей революции, почтит в его лице старые призраки блаженной памяти Сазонова и Гирса, Извольского и Горчакова. Не личность, но правовую идею, призрак законности, дипломатическую династию, не вымирающую quand même. Живучая фикция преемственности просто перескакивает через яму, в которую свалили семейство Романовых. Для нее император никогда не умирает и никогда не перестает быть императором: он абсолютно непрерывен в своей метафизической сущности. И если вместо орла и трехцветного, в небе вдруг полощется красное с СССР, то значит, императорская Россия умерла, не теряя бессмертия, и новая, советская, возникла, не рождаясь. Ведь, и со старой законной монархией случались такие странности: признавала же Европа некоих голштинских князьков подлинными потомками заведомо вымершей Романовской династии.

В культурном, юридически-гибком сознании европейского дипломата большевики заняли приблизительно то же место, какое в схоластическом мировоззрении его предка, феодала, занимал какой-нибудь четвероногий остгот, прямо с варварского щита своих орд взлезавший на священный престол Римской империи и короновавшийся в соборе св. Петра венцом кесаря, скрученным из конского недоуздка. Все это, конечно, постольку, поскольку дикие степные всадники Оттона или Теодориха стояли у самых стен Вечного города, и пьяные латники, рыгающие, пахнувшие лошадиным потом под награбленными шелковыми одеждами, не теряли способности владеть мечом, жечь города и склонять пап к ангельскому миролюбию.

Но, конечно, полное политическое признание, которым советское представительство пользуется в Кабуле, отнюдь не основано на гибкости чьего бы то ни было юридического мышления. Просто в Афганистане нельзя подвергнуть русских бойкоту, не оставшись самому в полном уединении. За СССР здесь говорят сила ее пограничных армий, реальность торговых интересов и ненависть всего населения к англичанам.

Даже французский полуофициальный представитель, академик Фурмье, в самый разгар Гаагской конференции вынужден был признать подлинное существование Советской России на пустом месте,

обведенном чертой блокады, которое столько лет держится в политической географии третьей республики.

Кстати, несколько слов о профессоре Фурмье, известном ученом, о котором сам Мильеран в официальной речи упомянул, как о „notre illustre". Это сладчайшее и корректнейшее воплощение казенной французской науки. Белоснежные волосы венком вокруг розовой лысины, свежий цвет лица, приветливые голубые глаза, снисходительная улыбка, открывающая безупречной работы вставную челюсть; крепкие скулы и квадратный, беспощадный подбородок человека, всю жизнь перемалы-



вавшего науку и проталкивавшего в культурный пищевод Европы дешовую и питательную патентованную кашицу. Работая правильными спазматическими приемами, пережевывая свои камни, обломки исчезнувших городов и утварь мертвых, он теперь крепко ухватил Афганистан. Его дикие руины, занумерованные и описанные, исчезают в пещере этого всеядного, всеопошляющего научного рта. И по мере того, как идолы Бамиана и таинственные надписи джелалабадских гробниц будут совершать свое органическое

движение по толстым и тонким кишкам археологии, по всем слепым отросткам и мертвым петлям этой науки, в Париже, в министерстве наук и великих открытий некий столоначальник, хранитель пыльных папок Александра и Великих Моголов, бережным почерком отметит заслуги академика Фурмье и приснопамятный день, когда обшлаг его черного сюртука украсит орденская лента. Как всякий истый буржуа-республиканец, Фурмье питает тайную страсть к монархии. Заветное слово „сир“, такое короткое и величавое, слетает с его медовых уст с невыразимой нежностью.

Возле какого-нибудь толстого, безмерно оплывшего, в постоянной пищеварительной истоме мигающего то одним, то другим глазом, сановника профессор порхает, как заботливая няня. Маленькие потирания рук, улыбка, вкрадчиво поблескивающий оскал, наклонение головы, выражают почтительное и ласковое согласие человека науки с доводами здравого смысла, обитающего под толстой, как верблюжье колено, черепной коробкой афганского сердара.

В такие минуты академик Фурмье, подобно нежной и цепкой лиане, обвивает тяжкий каменный столб абсолютной власти.

Зрелище невыразимого пресмыкательства являет на высочайших аудиенциях мадам Фурмье, жена академика. Она — внучка или правнучка одного из тех знаменитых хлеботорговцев, которые в 1789 год усумели нажить и припрятать громадные состояния, несмотря на ропот Сент-Антуанских предместий и желчные нападки „Друга Народа“. Семья мадам Фурмье давно пришла в упадок; современная спекуляция поглотила миллионы, некогда добытые путем простодушного, натурального хищничества. Но сама праправнучка знаменитого пекаря сохранила сахарную белизну французской булки, эту сочную, теплую мякоть, в которой навеки увязла вставная челюсть маститого археолога. Она белокура, как румяный крендель, обмазанный сверху пером, обмокнутым в желток; над маленькими светлыми глазками из голубоватой сыворотки, какою замешивают тесто,— белые ресницы, осыпанные мукой. Кондитерские плечи, сдобная талия, тяжелый круп и могучий живот, к которому ее бабка прижимала пудовый ржаной хлеб, отрезая от него дымящиеся ломти. На дрождях многотысячных гонораров Сорбонны великолепные возможности мадам Фурмье несколько отсырели, поползли через край, вздулись ноздреватой горой мяса, как в квашне, переливающегося

в тесных и прозрачных платьях-рубашечках, какие теперь носит модный Париж.

В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит, как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студенем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загипнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.

Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видевшая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей, черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и свыше всякой меры.

Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо-холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.

Фашисты в Азии.

Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время-от-времени удается оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия.

После обеда в клубах вальсируют, как всегда, и к хрипу и животному неистовству фокстротов примешивается шуршание воздушных флотилий, летящих к месту восстания. Танцующие улыбаются, улавливая над крышей белого, радостного дома полет этих орлиц, которые через час обрушат тысячи смертей на пылающие поселки пограничников. В течение еще недели колониальная пресса пишет о зверствах повстанцев, публикует портрет респектабельного, фланелево-белого, шлемистого плантатора, вырезанного со всей своей розовой и круглой семьей.

Потом „Пайонир“ и „Инглишмэн“ в иллюстрированном приложении дадут героев, отбивших одичалую от голода толпу от белой террасы земиндара, три дня просидевшего за баррикадой, сложенной из длинных, уступчивых, располагающих к послеобеденному отдыху, шэз-лонгов.

Потом техника починит все взорванные мосты и вывернутые телеграфные столбы; правосудие повесит виновных, которых не успели захватить и расстрелять у поврежденных насыпей и разграбленных почтамтов.

Затем вице-король со своей умной и сухой улыбкой старого еврея, знающего цену всему на свете, навесит дюжине аристократических дураков новенькие, как деньги, ордена.

Вице-королева, старая Роза из чулочного магазина в Уайт-Чепеле, еще раз упьется на старости лет царскими почестями

своего сана. Дамы опустятся перед ней на одно колено почти до полу, а титулованные господа, как мальчишки, не смея шелохнуться или закурить папиросу, в ожидании станут у дверей этого вице-величества, помазанного в государи биржей и министерскими чиновниками. Здесь, в Индии, венценосцу ростовщиков и торговцев цветной человечины воздаются истинно-царские почести. С этикетом вице-королевского двора не сравняются никакие тонкости и строгости старых европейских монархий. Там вольность и простота, там величество окружено роями светлостей и сиятельств, которые его считают только первым среди равных и часто пожимают плечами насчет чистоты крови и древности царствующего дома. В Индии же феодальная знать, такая избалованная на родине, наполнившая „хроники" Шекспира своей надменной вольностью, окружает вице-короля Индии азиатскими почестями, громоздкими и унизительными для себя церемониями. Наравне с цветными она демонстрирует свою полную зависимость от короля милостью банков.

В Дели капитал священнодействует в благоговейной тишине, окруженный кольцом коленопреклоненных царедворцев, старейших и почтеннейших представителей армии, высокородных леди, чуть не до полу склонивших свой породистый пробор. Никто не смеет шевельнуться, кашлянуть, переступить с ноги на ногу. Все замерло в почтительной, священной тишине; как-будто слышно затрудненное дыхание Полипа, вонзившего свой могучий хобот в сердце Индии; кажется, видно, как по трепещущим, раздутым венам течет живая влага, все еще плодоносными приливами истекающая из ее старых ран. Хлопают последние выстрелы карательных экспедиций. Вице-королева улыбается млечному пути брильянтов, мерцающих у ее кривых, плебейских ног, и „святой" Ганди из своей тюрьмы кричит народу о непротивлении злу.

В промежутках между чисто-английскими колониями паразитов ютятся представители менее победоносных торговых держав. Путаясь под ногами победителей, подбирая крохи, устремляясь ко всякому клочку белой индийской кожи, случайно мелькнувшему из-под тучи обсевших и жрущих ее клещей, перебиваются итальянские, немецкие, и другие европейские негоцианты. Особенно эти последние. Бедность делает их предприимчивыми, а громкие титулы придают комми-вояжерской наглости вид аристократической непринужденности. В самой Индии эти господа едва ли могли рассчитывать на успех. Но неожиданно для них открылось новое

поле действий: страшный Афганистан, которого так боятся их друзья-англичане.

Захватив фраки и пару шелкового белья, они чуть не вприпрыжку перешли заветную границу, провожаемые сумрачным и завистливым взглядом пограничного чиновника, день и ночь охраняющего эту проклятую пустыню, съевшую столько английского золота и костей.

В Джелалабаде оба, граф и командор, „король шелковичных червей", были великолепны на фоне пустынь, голых гор и величавого безразличия, с которым Восток позволяет всякому прохожему вскарабкиваться и перелезать через свою холодную, давно уснувшую каменную грудь.

Знатные путешественники, едва окинув страну небрежным взором, прониклись невыразимым к ней презрением. Никакой наживы, ничего готового. Ни слоновой кости, которую у дикарей надлежит выменивать на водку; ни рубинов и ковров в обмен на ржавые бритвы, стеклянные бусы и красный коленкор.

Аппетиты скользнули по голым скалам Афганистана, по крупному лицу эмира, и везде сорвались, везде поскользнулись и осеклись. Взвинченные десятидневным целомудрием (ибо в этой варварской стране даже туземки не продаются), оскорбленные бедностью полей, которым нужны вонючие удобрения и тяжеловесные машины; шокированные мелочной робостью белобородых купцов, пробующих каждую монету на зуб и моментально загрязнивших и расщипавших по нитке нарядные образчики, молодые люди собрались в обратный путь.

Перед отъездом они сделали визит в большевистское полномочное представительство.

Как-то неловко было смотреть на их лица, совершенно голые, гордящиеся полной неприкровенностью своих черт, выставивших напоказ голизну всех своих хотений, назло старым буржуазным фиговым листкам.

Все ясно в этих физиономиях, от наглого лба, от проваленных грязных глаз, холодных, как мертвая рыба, в серых прокуренных орбитах, и до пресыщенного, пренебрежительного рта, обложенного двумя скучными и жестокими рытвинами, двумя большими, вытоптанными дорогами, вдоль которых грабят и обирают, чтобы потом прожить, пропить и пролюбить со страшными рыжими самками, хлещущими этих бандитов с еще большей бесцеремонностью, чем сами они, прожорливые, беспощад-

ные и торжествующие, поступают со своими слабейшими конкурентами.

Нет ничего удивительного в том, что маленький Афганистан при виде этих физиономий схватился за карманы и побежал пересчитывать свой каракуль, развешанный на сушильнях. Не нашлось ни одного купца, достаточно цивилизованного для того, чтобы сесть за игорный стол с двумя великолепными рвачами и в два приема, при блеске свеч и мелькании белоснежных манжет, проиграть им свою лавочку на базаре, свои ковры и свои золотые, бережно сосчитанные и висящие на груди под рубашкой в вышитом бухарском мешочке.

Но эти рвачи, вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем не отличались бы от миллиона им подобных, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма.

Их наглая решительность значит не только „деньги ваши будут наши", но и „нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками, в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей".

Эти молодцы во фраках, рослые, с утюгообразными тяжелыми лицами, на которых, как следы чего-то раздавленного, пятна глаз и рта, не лицемерят, не делают вид, что им стыдно, не говорят ненужных слов, не щадят и сами не запросят пощады у стенки. Когда слышат слово „парламент", „конституция" или „народное представительство", то как-то по-животному хмыкают из-под бальных рубашек и сочувственно, с пониманием, смотрят на нас: „вы, дескать, с этим покончили".

О России говорят с удивительным, циничным уважением, и тогда руки с большими, плоскими и чистыми ногтями тихонько начинают играть на скатерти от желания поскорее схватить за глотку единственного достойного противника. Весь мир, кроме этого СССР, лежит для них в пропасти невыразимого презрения, как добыча сильных, как трусливое и лицемерное стадо, из которого, с торжествующим рычанием, можно и должно выхватывать самых жирных баранов, чувствуя на волчьих зубах их сентиментальный запах, их шелковистую интеллигентскую шерстку, давясь их блеянием на тему о том, что „сила не есть право". Не говоря уже о классе неимущих, лежащем далеко внизу

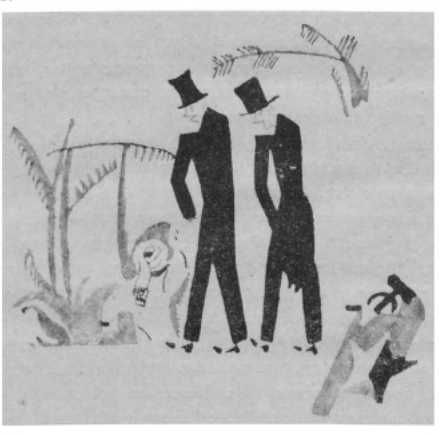
и сбрасываемом вниз, под откос, прикладами и жандармскими сапогами всякий раз, когда он обнаруживает преступное желание выбраться наверх. Эти — вне закона и пока в счет не идут.

Встречи с нами ждут, как неизбежного, после чего у мира останется только один хозяин. Найдя красное знамя Советов на этой окраине Азии, к которой, с другой стороны, вплотную пододвинулась Англия, они явились посмотреть на большевиков, вежливые и любопытные, с шерстью, которая против воли стала дыбом на волчьих загривках.

В дверях граф повернул свое тяжелое лицо и сказал с улыбкой:

„С такими противниками, как большевики, мне приятно будет встретиться на баррикадах".

Два черных поклонились, и фонарик побежал перед ними в черный сад. Точно они кого-то вели, или их кто-то повел к гильотине.



ОГЛАВЛЕНИЕ.